

К. К.
АРСЕНЬЕВ



Избранное



Константин Константинович Арсеньев

Дело Мясниковых (Судебные речи)

«Настоящее дело было рассмотрено Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей 17–22 февраля 1872 г. По обвинению в подлоге завещания от имени купца Козьмы Васильевича Беляева суду были преданы Мясниковы Александр и Иван и Караганов. Суть дела состояла в следующем...»

**Константин Константинович
Арсеньев
Дело Мясниковых**

Настоящее дело было рассмотрено Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей 17–22 февраля 1872 г. По обвинению в подлоге завещания от имени купца Козьмы Васильевича Беляева суду были преданы Мясниковы Александр и Иван и Караганов. Суть дела состояла в следующем.

24 сентября 1858 г. скончался купец К. В. Беляев, Прибывший на его квартиру квартальный надзиратель при осмотре ценностей, бумаг и вещей духовного завещания покойного не обнаружил. Некоторое время после смерти Беляева вопрос о завещании оставался открытым. Лишь 16 октября 1858 г. жена Беляева – Екатерина Васильевна Беляева – предъявила для засвидетельствования домашнее завещание, датированное 10 мая 1858 г.

12 сентября 1859 года племянник Беляева – Мартьянов, узнав о завещании 10 мая возбуждает спор о подлоге, однако до окончания рассмотрения этого, спора он умер от холеры. За дальнейшее поддержание спора о подлоге взялась мать умершего Мартьянова. Но и ей не удалось его завершить – в 1861 году она

также скончалась, оставив поручение на продолжение ведения этого дела супругам Ижболдиным и Зое Пешехоновой. Не ожидая окончания спора о подлоге, Ижболдины в 1868 году подают заявление прокурору о возбуждении уголовного дела против обвиняемых по настоящему делу. Проведенным расследованием были собраны доказательства, свидетельствующие о возможности факта подлога завещания. Наиболее существенным из этих доказательств было сознание конторщика Караганова в следующем. По его словам, в день смерти Беляева к Караганову явился Александр Мясников и попросил его исполнить на чистом листе бумаги подпись Беляева, что Караганов, умел делать довольно искусно. Караганов исполнил просьбу Мясникова, не интересуясь вопросом о том, зачем ему это нужно. В предъявленном Караганову после возбуждения уголовного дела тексте завещания он признал тот самый лист, на котором им была по просьбе Мясникова исполнена подпись «Козьма Беляев». Однако с уверенностью сказать, что это был тот самый лист, Караганов не мог. По его мнению, текст заве-

щания от имени Беляева был исполнен его адвокатом – Целебровским, однако и в этом он не – был убежден.

В таком состоянии дело с обвинительным заключением и поступило в суд[1]. Защитник Александра Мясникова – К. К. Арсеньев с исключительным вниманием и скурпулезностью разобрал все основные из доказательств по делу. В результате глубокого анализа он сумел показать несостоятельность основных тезисов обвинения. Шаг за шагом, следуя за защитительной речью Арсеньева, убеждаешься в обоснованности позиции защитника и недостаточной аргументированности обвинения. Интересная, исключительно глубокая по содержанию и замечательная по ее юридическому анализу, речь К. К. Арсеньева полностью приводится ниже.

* * *

Я должен прежде всего обратиться к гражданину председателю с просьбой позволить мне исправить одно заявление, сделанное первым поверенным гражданских истцов. Хотя заявление это выходит из пределов судебных прений, так как касается предмета, кото-

рый не был исследован на суде, но ввиду равенства сторон я считаю себя в праве представить против него опровержение. Поверенный гражданского истца утверждал, что следствие относительно Беляевой прекращено по давности; между тем, сколько мне известно, следствие относительно Беляевой прекращено Судебной Палатой по двум причинам: по давности и по недостаточности улик.

Председатель. Действительно, со стороны поверенного гражданского истца, сколько я помню в настоящее время, сделано было заявление о том, что следствие в отношении Беляевой прекращено за давностью, и подобное заявление, как совершенно правильно заметил защитник, выходило из пределов судебных прений, которые должны ограничиваться только тем, что было разъяснено на суде. Затем в имеющемся при деле определении Судебной Палаты от 29 ноября 1871 г. значится, что дело относительно Беляевой, привлеченной к нему в качестве обвиняемой, прекращено, но по каким причинам – на это указания не имеется. Следовательно, заявление поверенного гражданского истца о том, что

следствие прекращено за давностью, никем в этом определении не удостоверяется.

К. К. Арсеньев. Я должен обратить внимание еще на одно заявление поверенного гражданского истца. В деле, подобном настоящему, и без того запутанном и трудном, мы должны избегать всего, что напрасно усложняет дело, и я никогда не позволил бы себе говорить о тех личных взглядах и чувствах, с которыми я взялся за защиту А. Мясникова, если бы поверенный гражданского истца не начал свою речь с того, что защите позволительно приниматься за дело, когда есть сомнение, но обвинение – а поверенный гражданского истца держал себя все время как обвинитель – должно быть принято только с полным убеждением.

Я смотрю совершенно иначе на этот вопрос; но, не вдаваясь в подробный разбор его, я постараюсь только передать вам, господа присяжные, мое убеждение в правоте этого дела, и если мне это удастся, то задача моя будет исполнена.

Я весьма благодарен господину представителю обвинительной власти за то, что он по

возможности упростил дело, устранив бездну подробностей, вовсе не ведущих к раскрытию истины. Если бы прения вращались в тех пределах, в которых происходило судебное следствие, то, и без того утомительные и продолжительные, они сделались бы бесконечными. Я буду держаться совершенно той же системы, которая принята обвинительной властью, и постараюсь устранить всю массу разнообразных и разноречивых сведений, не имеющих ровно никакого значения для настоящего дела; я буду касаться ее лишь настолько, насколько к тому меня вынуждает речь первого поверенного гражданских истцов. Если бы я хотел держаться другой системы защиты, если бы вообще у защитника, сознающего свое достоинство, могло быть когда-нибудь желание – по выражению одного из моих противников – поддевать вас на удочку, господа присяжные заседатели, то, конечно, мне выгоднее было бы говорить о том, что не идет прямо к делу, потому что в этой массе ненужных данных есть свидетельства более благоприятные для защиты, чем для обвинения; но я согласен идти тем путем, кото-

рый указан господином прокурором.

Прежде всего надо заметить, что оба противника мои впадают в одно противоречие с самими собой: они говорят, что нужно забыть обо всех тех свидетелях, показания которых, очевидно, неверны и вызваны своекорыстными побуждениями, но вместе с тем как тот, так и другой чрезвычайно много говорят об одном из этих показаний или, лучше сказать, об одной из личностей, дававших эти показания, а именно о Шевелеве. Вы, конечно, заметили в этих объяснениях какое-то странное противоречие. Одно из двух: или Шевелев вообще не заслуживает внимания – и в таком случае его надо оставить в стороне; или же показание его имеет существенное значение – и в таком случае необходимо дать себе отчет, в чем это значение заключается. И, действительно, если я сказал в начале своей речи, что мы должны быть благодарны обвинению за упрощение дела, то я должен оговориться и прибавить, что мы должны быть еще более благодарны за это Шевелеву. Не будь его объяснений, которые так ясно и реально обрисовали характер целой категории свидетель-

ских показаний, нам говорили бы очень много о показаниях Красильникова, Штеммера и других, которых я даже и называть не стану. Вот почему, господа присяжные, мои противники так горячо стараются унизить перед вами личность Шевелева; вот почему господин прокурор сравнивает его с Ноздревым, а поверенный гражданского истца возбуждает интересный вопрос о том, религиозен ли Шевелев, верит ли он в присягу.

Я, конечно, не беру на себя защиту Шевелева; человек, способный сделать то, что сделал Шевелев осенью 1866[2] года, защищаем быть не может; я не могу только не указать на одну особенность его показания, повлекшую за собою, можно сказать, целый ряд разоблачений. Если бы он показывал один, если бы не был спрошен никто более, тогда вы могли бы отнестись к нему с большим или меньшим недоверием, но после Шевелева был спрошен свидетель Ижболдин. Я не стану напоминать сущности показания этого свидетеля, ни перечислять тех противоречий, в которые он впал даже со своим поверенным Сысоевым; но я напомню его смущение, тон его объясне-

ний, совершенно отличный от тона, в котором он давал свое показание. Следовательно, показание Шевелева драгоценно в том отношении, что оно раскрыло весьма важную часть дела. Если бы, например, мы имели одно только показание Исаева, оно могло бы нам казаться чересчур странным: человек почтенных лет, занимавший должность следственного пристава, является к судебному следователю, потом приносит присягу перед судом и два раза сознается в том, что написал за деньги письмо, в котором нет ни одного слова правды. Между тем в связи с показанием Шевелева показание Исаева приобретает весьма большое значение. Вы помните содержание того письма, за которое Шевелев получил награду в настоящем и награду в будущем, то есть условие, которое он заключил с Ижболдиным. В письме этом Шевелев говорил, что Мясников просил его подписаться на Завещании. Представляется ли это письмо отдельно стоящим в этом деле? Нет, об этом же показывал Матвеев, а, по словам Ижболдина, он приехал в Петербург, слышал от Кемпе, что и его просили подписаться на завеща-

нии; затем письмо Исаева опять касается того же вопроса, говорит об офицере, приехавшем просить Исаева подписаться на завещании Беляева.

Таким образом, мы видим целый ряд показаний, направленных к тому, чтобы показать, что Мясниковы обращались ко всем и каждому с просьбой подписаться на завещании, и только тогда, когда Шевелев дал свое показание и когда вы после него выслушали Ижболдина, сделалось невозможным опираться на эти показания – они пали с тем, чтобы никогда не подниматься.

Конечно, господа присяжные, самое правое дело можно вести неправыми средствами; я не могу не признать этого, и центр тяжести защиты должен лежать не в этих показаниях, с которыми я сейчас и расстанусь, но нельзя не сознаться, что если кто-нибудь приступает к делу с уверенностью в том, что на его стороне закон, истина и справедливость, то в большей части случаев он к таким средствам прибегать не станет, в особенности тогда, когда пред ним открывается полная свобода и широкое поле для исследования исти-

ны. Если бы Ижболдин прибежал к неправым средствам в то время, когда действовали в судах старые порядки, когда трудно было выиграть дело при известных условиях, тогда, не оправдывая его, можно бы было понять его образ действий, но припомните, когда он стал прибегать к письмам Шевелева, Исаева и другим подобным средствам: в конце 1866 года, когда в Петербурге были введены в действие Судебные Уставы и когда от него зависело несколько раньше подать ту жалобу прокурору, которая в 1868 году послужила исходной точкой для начала предварительного следствия. Когда вы имеете пред собой лицо идущее таким путем, в такое время, тогда, конечно, должно закрасться некоторое сомнение в правоте самого дела, и по средствам можно составить некоторое понятие о цели. Вот почему мои противники с таким необыкновенным усердием разбирали перед вами показание Шевелева.

Я перехожу теперь к трем вопросам, которые поставлены обвинительной властью, но буду разбирать их в несколько измененном порядке: обвинительная власть говорила сна-

чала о подложности завещания, потом перешла к участию, которое принимал в этом деле Караганов, и, наконец, поставив вопрос о том, кто имел выгоду в составлении завещания, решила этот вопрос против Мясниковых. Я поставлю второй вопрос на место первого и начну с показания Караганова, потому что оно только одно имеет значение прямой улики, одно только может поселить в вас предположение о подложности завещания не путем догадок и более или менее произвольных соображений, а путем факта, который был перед вами засвидетельствован. Затем я перейду с подложности завещания вообще ко всем тем соображениям, которые представлены вам по этому предмету, и, наконец, к третьему, самому главному вопросу – о том, кто имел интерес в составлении завещания, причем я вполне согласен с обвинительной властью и не согласен с одним из представителей гражданских истцов в том, что вопрос о состоянии Беяева имеет существенное значение в настоящем деле. Вот краткая программа, которую я счел нужным изложить перед вами.

Обвинительная власть, как вы могли заметить, придает весьма большое значение показанию Караганова, данному на предварительном следствии и здесь, на суде, перед вами. Для того чтобы определить значение этого показания, нам нужно исследовать его с двух различных сторон: нам нужно рассмотреть внутреннее его содержание и затем обратить внимание на человека, дающего это показание как в тот момент, когда он является перед вами, так и в продолжение всей его предыдущей жизни, игравшей такую большую роль в речи господина прокурора. В показании Караганова, взятом независимо от его личности, конечно, нет ничего точного, твердого, ясного; для того чтобы извлечь из него что-нибудь, имеющее определенный смысл, необходимо произвести над ним целый ряд предварительных операций, устранить все лишнее и с большим трудом восстановить факты, идущие к делу.

Подсудимый Караганов показывал перед вами, что в день смерти Беляева, по предложению А. Мясникова, в его кабинете он написал несколько раз на белых листках слова

«Козьма Беляев». Спрошенный затем, знал ли он, для чего это делается, Караганов давал сбивчивые противоречивые ответы и то признавал, то не признавал отношения этих подписей к завещанию Беляева. Ему предъявили завещание, его спросили, на том ли листе он сделал подпись, на котором она находится на завещании.

Я полагаю, что более правильным было бы сделать то, чего не было сделано ни на суде, ни на предварительном следствии, а именно предложить Караганову показать место подписи на белом листе бумаги. Караганов говорит: «Да, кажется, подпись была на этом месте». Возможно ли, чтобы через 14 лет человек, который не помнит, на каком листе он подписался – на простом или гербовом, мог припомнить и объяснить вполне правильно то место, на котором стояла одна из его подписей, так как их сделано было несколько. Далее, где же доказательства тому, что подпись Караганова, сделанная им на белом листе бумаги, есть именно та самая, которую вы видели на завещании? Вы припомните, что один из свидетелей, Красильников, говорил, что

было много документов с подложными подписями Беляева. У вас есть один только повод предполагать, что подпись на завещании сделана Карагановым – это сличение почерка, мнение экспертов, которые сказали, что Караганов по свойству своего почерка мог подписаться так, как подписано завещание. Но, я думаю, вы не забыли тех пробных подписей, которые предъявлялись вам, и, вероятно, убедились, что ни одна из этих подписей никакого сходства с подписью Беляева на завещании не имеет; следовательно, мнение экспертов подрывается в самом основании. Для того чтобы доказать вероятность того, что подпись на завещании сделана Карагановым, нужно доказать, но крайней мере, что он способен сделать подобную подпись, а этого доказано совершенно не было.

Наконец, на каком основании Мясников обращается с просьбой сделать фальшивую подпись к Караганову? Разве он слыл уже за человека, умеющего подписываться под чужую руку? Ноя думаю, что такого человека ни на одну минуту не оставили бы ни в одной конторе, потому что он представлялся бы

крайне опасным.

Не странно ли затем, что в самый день смерти Беляева, в то время, когда не было еще никакого основания предполагать, что завещания не осталось, в то время, когда сама Беляева, если и допустить, что Мясниковы тотчас же спросили ее о существовании завещания, не могла дать им об этом удовлетворительного ответа; когда они могли думать, что завещание хранится в том или другом присутственном месте или отдано на сохранение тому или другому частному лицу, что в это время Мясников прямо приступает к составлению фальшивого завещания и без всякой предосторожности, без всяких предварительных мер предлагает Караганову содействовать ему в таком преступлении, которое, может быть, вовсе не нужно, но одно приготовление к которому ставит уже хозяина в зависимость от подчиненного? И как же объяснить себе, что человек, никогда не делавший подложных подписей, никогда не готовившийся к этому делу – человек, личность которого устраняет всякое невыгодное для него предположение, тотчас же соглашается на

преступное предложение и через несколько минут делает подпись на предложенном ему листе бумаги, подпись, настолько похожую, что на ней можно было остановиться для достижения цели? Вот, господа присяжные, то, что бросается в глаза по поводу самого показания Караганова, по поводу тех немногих слов его, которые имеют прямое, непосредственное отношение к делу. Но само собою разумеется, что гораздо важнее всего этого представляются соображения, относящиеся к личности подсудимого.

Прежде всего вам предстоит определить, кто перед вами показывает: человек, пользующийся вполне всеми умственными способностями, сознающий каждое свое слово, отдающий себе отчет не только в теперешних действиях, но и в том, что он делал 14 лет тому назад; человек, свободный от влияния ложных представлений, или же человек, способности которого находятся в состоянии не вполне нормальном? Когда вы себе поставите этот вопрос, то вы, без сомнения, увидите, что того третьего вывода, о котором говорил господин прокурор при допросе Дюкова и о кото-

ром он упомянул в своей речи, здесь быть не может. Вопрос допускает только два разрешения: или Караганов притворяется, или он находится в ненормальном состоянии. Тот третий вывод, о котором: упомянул господин прокурор, не имеет самостоятельного значения он вполне совпадает с разрешением вопроса в смысле притворства. Как в самом деле формулирован этот вывод? «Нельзя не предположить, что показания, которые давал Караганов, объясняются, с одной стороны, забывчивостью, с другой стороны, желанием оправдать себя, показать, что он был всегда верным слугой своих хозяев?» Но ведь это есть не что иное, как притворство. Когда человек имеет известную цель, к которой он подгоняет свои показания, когда он для достижения ее не отвечает на одни вопросы, отвечает бессмысленно на другие; тогда он притворяется. Прежде чем пойти далее, я должен предостеречь вас, господа присяжные, по поводу одного обстоятельства. Вопрос о притворстве Караганова должен быть разрешен только на основании всего того, что вы слышали и видели на суде; если даже экспертиза

В этом отношении не может иметь для вас окончательного значения обязательной силы, потому что эта экспертиза неполная, данная одним лицом, которое предварительно за Карагановым не наблюдало, то еще менее может иметь значение мнение одного лица, как бы авторитетно оно ни было. Поэтому я должен напомнить вам, что хотя Караганову в течение судебного заседания и было говорено: «Вы очень хорошо понимаете смысл вопросов, вам предлагаемых, и ответов, которые вы на них даете; но тем не менее, личное мнение, выразившееся в этих словах, Должно оставаться для вас только личным мнением, не разрешающим вопроса, и для вас вовсе не обязательным». Затем, когда вы приступите к вопросу о притворстве, вы спросите себя: какой интерес имеет Караганов притворяться? Кто мешал Караганову, если он и действительно виновен, сказать перед вами на суде, что он никогда не подписывался за Беляева? Ведь против, Караганова по этому поводу нет никаких доказательств, никаких улик. Правда, были какие-то слухи, что Караганов в этом сознавался, что он с кем-то советовался, но

эти слухи заключались в показаниях свидетелей, которые уже откинута обвинительной властью и даже поверенными гражданских истцов и к которым возвращаться нечего. Следовательно, остается только признание Караганова. Не будь этого признания, не было бы и оснований к его обвинению. Когда человек поставлен таким образом, что вместо того, чтобы играть трудную роль человека, находящегося в ненормальном состоянии, вместо того, чтобы в течение пятидневного заседания носить на себе маску, не гораздо ли проще сказать: «Нет, я не виновен»? Следовательно, нет для Караганова основания притворяться, а если основания нет, то мы уже близко подошли к тому выводу, что душевное состояние Караганова не вполне нормально.

Господин эксперт Дюков ответил на мой вопрос, что готов признать состояние Караганова ненормальным, если только предположить, что он не притворяется; но Дюков поспешил оговориться, что из этого несколько не следует, чтобы он был помешан, так как для признания помешательства необходимо подыскать такую форму болезни, которой со-

ответствовало бы состояние подсудимого, необходимо, чтобы вся группа припадков, характеризующих состояние Караганова, положительно совпадала с группой припадков и признаков, характеризующих известную форму помешательства. Быть может, это необходимо для эксперта, дающего свое заключение с точки зрения науки; но если специалистами признано, хотя условно, ненормальное состояние Караганова, то нам нет надобности подыскивать форму болезни, которая бы вполне соответствовала его состоянию; нам совершенно достаточно сказать: этот человек не то, что каждый из нас, этот человек не пользуется в такой степени памятью, воображением, рассудком, как каждый из нас; поэтому мы не имеем права верить ему так, как верили бы другому при тех же самых обстоятельствах. Я не стану напоминать вам самую форму показания Караганова; вы, конечно, давно убедились, что в этой форме заключается главное основание для предположения, что Караганов не притворяется. Караганов во все не постоянно говорит несообразные речи; когда речь идет не о нем, когда рассматрива-

ются такие доказательства, которые никакого отношения к нему не имеют, он молчит, он не навязывается вашему вниманию, не старается беспрестанно доказывать, что находится в ненормальном состоянии; но каждый раз, когда дело касается его лично, когда к нему обращаются с вопросом, поток несвязных слов, всегда направленных в одну и ту же сторону, носящих один и тот же колорит, тотчас же прорывается и идет по своей, давно пробитой колее. Нам говорят, что он не всегда так держит себя, что в присутствии посторонних лиц он говорит бессвязно, произносит отрывочные слова, обращается к одним и тем же предметам; но когда он остается наедине с человеком, сумевшим снискать его доверие, он является совершенно другим, он весел, играет на скрипке и т. д. Я бы придал этому значение, если бы Караганов был подвергнут правильному освидетельствованию, если бы его наблюдал врач-специалист, имеющий право на название психиатра, если бы помещен он был – как и была речь об этом, но, к сожалению, этого не было сделано – на испытание в какое-нибудь заведение для душевноболь-

ных. Я замечу по этому поводу, что вообще обязанности защиты начинаются, или, лучше сказать, права ее возникают слишком поздно; она призывается к участию в деле за несколько недель до судебного заседания, в то время, когда уже невозможно настаивать на испытании. Все, что мы могли бы сделать, это – вызвать еще несколько экспертов; но припомните, что мы никогда не слыхали и не видали, как держит себя Караганов, поэтому поведение его на суде для нас было новостью, и мы едва ли могли что-нибудь сделать раньше. Как бы то ни было, показание доктора Баталина не будет иметь в ваших глазах решительного значения, и вы не признаете, что Караганов притворяется только потому, что в присутствии доктора Баталина он вел себя так, а в присутствии докторов Шульца и Дюкова – иначе. Если б Караганов притворялся обдуманно, то он хорошо понял бы, что лицо, посылаемое для постоянного за ним наблюдения, есть именно то, которое всего важнее ввести в обман; он хорошо понял бы, что вести себя так в присутствии этого лица и иначе в присутствии других есть самое верное

средство раскрыть обман и дать против себя все орудия, все средства к раскрытию истины. Итак, если допустить, что в присутствии доктора Баталина. Караганов был весел и спокоен, то и с этой точки зрения его притворство не доказано и должно быть отвергнуто.

Вам говорят далее: «Положим, Караганов находится не в нормальном состоянии; но кто же виноват в этом? С которых пор явилось это ненормальное состояние?» Вам говорят, что до 1868 года, то есть до того времени, когда началось первое предварительное следствие по настоящему делу, Караганов ничем не отличался от всех других, что только после этого рокового момента в его жизни он начинает изменяться, делается странным, буйным, пьет горькую чашу и таким образом падает все ниже и ниже до самого ареста. Когда, господа присяжные заседатели, дело идет о столь важном, существенном вопросе, тогда следовало бы относиться несколько осторожнее к фактам самого дела. Где доказательства тому, что перелом в Караганове произошел только после 1868 года? Я полагаю, что никто не может указать тому других оснований,

кроме показания Алексея Беляева, который заметил, что когда Караганов был на Подгорном заводе в 1867 году, то находился в нормальном состоянии, а в 1869 году возвратился туда уже в состоянии ненормальном. Но вы, вероятно, не забыли, что есть два письма, с полной ясностью доказывающие, что этот перелом, если только был перелом, если болезнь не подготовлялась постепенно, – совершился гораздо раньше; есть письмо от Добрынина из Ставрополя, относящееся к марту 1868 года, в котором Добрынин пишет, что здоровье Караганова плохо, что у него бывают припадки сильной меланхолии, и при этом прибавляет очень характерную фразу: у него в голове не все дома. Затем в июне того же года, за месяц до начала в С.-Петербурге первого предварительного следствия, Кошельков пишет А. Мясникову, что если взыскание не произведет должного впечатления на Караганова, то, значит, у него голова не совсем здорова. Следовательно, и у Кошелькова является предположение, что Караганов в ненормальном состоянии; стало быть, нельзя утверждать; что перелом совершился только

во время первого предварительного следствия.

Затем вам говорят – и это важнее, – что Караганова спаивали; против Мясниковых возводится, таким образом, обвинение, которое я считаю равносильным и даже более тяжким, чем обвинение в подлоге; их обвиняют в том, что они систематически спаивали Караганова, человека, пожертвовавшего им всю жизнь, пострадавшего для них, спаивали его систематически для того, чтобы довести до состояния бесчувствия, заставить забыть все то, что опасно для них. Такое обвинение, конечно, может быть представлено перед вами не иначе, как на основании каких-нибудь неоспоримых доказательств; где же между тем хотя одно такое доказательство? Может быть, обвинительная власть сошлется на показания свидетелей о том, что Караганову отпускалось вино сверх жалованья? Но разве она забыла показания Жукова, что этот обычай существовал на всех заводах, что всем служащим отпускалась известная порция вина; наконец, если даже Караганов и пользовался бы вином в больших размерах против

других, то где же доказательства, что это делалось по распоряжению свыше? Если Караганов мог брать иногда лишнюю порцию спирта под предлогом производства пробы, то это объясняется вообще той угодливостью, с которой относились к Караганову по известным причинам, вследствие его женитьбы, другие служащие у Мясниковых. Следовательно, это обвинение ничем не доказано, а если оно ничем не доказано, то я не могу не пожалеть, что оно предстало пред вами, в особенности в той форме, в которой оно было высказано.

Затем необходимо проследить жизнь Караганова с того времени, когда он будто бы совершил преступление, и до того, когда был арестован. Но здесь мы встречаемся с изложением фактов, далеко не точным, не соответствующим настоящему положению дела. Вам говорят, что Караганов вскоре после подписания завещания является человеком состоятельным, предлагает Гонину вступить в пай, предлагает ему известную сумму займа и, наконец, женится на женщине, гораздо выше его поставленной, на оперной певице, быв-

шей знакомой А. Мясникова. На чем же основана предположение о том, что Караганов разбогател прежде своей женитьбы? Оно основано только на показании Гони́на; но я полагал, что показание Гони́на отвергнуто обвинительной властью, причислено к массе показаний, ничего не стоящих, подлежащих устранению. Я полагал и полагаю, что после того как нам сделалось известно об отношениях Гони́на к Ижболдину, о тех векселях, которые были выданы за полтора месяца до начала первого предварительного следствия, лучше было бы не ссылаться на этого свидетеля. Итак, оставаясь последовательным, я имею право устранить Гони́на.

Затем вам указывают на то, что мелкий приказчик женится на женщине развитой и высокопоставленной. Но разве это можно сказать о Карагановой? Вам не предъявлялись ее письма, но я полагаю, что никто не станет отвергать, что это письма безграмотные. Когда ей нужно было написать письмо более сложное, она обращалась, как известно, к помощи посторонних лиц и просила написать свидетеля Иванова за нее письмо к А. Мясникову.

Наконец, господа присяжные заседатели, неужели вам не известно, что когда совершается брак этого рода, то большей частью избирается лицо, несколько ниже стоящее в социальном положении, чем та женщина, которую хотят выдать за него? Очень не трудно понять, что в подобных случаях не всякий согласится принять на себя известную роль и что поэтому приходится обращаться к лицу, которое по своему общественному положению готово купить шаг вперед хотя бы такую ценою. В большей части подобных случаев бывает гораздо более сильное отсутствие равенства между женихом и невестою, нежели то, какое было в данном случае, или лучше сказать, в данном случае я этой разницы почти не вижу. Я думаю, что Караганов легко мог жениться по любви, по привязанности, на что есть даже намеки в деле. Во всяком случае госпожа Обольянинова не стояла настолько выше Караганова, чтоб он мог перешагнуть пропасть, лежавшую между ними, не иначе как с помощью человека, заинтересованного в его молчании, каким представляются вам А. Мясникова.

Затем, господа присяжные заседатели, как действует Караганов по отношению к Мясникову? Так ли, говоря словами прокурора, как преступный приказчик в отношении к преступному хозяину? Нам говорят, что если Мясников позволил сначала Караганову удалиться из Петербурга и жить, где и как хочет, то это объясняется только тем, что Караганов в то время был молод, полон жизни, надежд, что, следовательно, его интерес совпадал с интересом Мясниковых, что он должен был молчать как для них, так и для себя; но что затем, когда он обеднел, когда он потерял почти все свое состояние и принужден был обратиться к Мясникову с просьбой о помощи, тогда он сделался опасен, тогда малейшего повода достаточно было для того, чтобы он рассказал истину, и тогда-то следовало устроить над ним самый бдительный надзор.

Встанем на минуту на эту точку зрения и посмотрим, как должен поступать хозяин, поставивший себя в такие отношения к служащему, в которые поставил себя Мясников к Караганову. Я понимаю, что почтительность, с которой приказчик привык относиться к

своему хозяину, может давать тон его письму даже и в этом случае; но я убежден, что в переписке, продолжавшейся несколько лет, и притом не с одним только хозяином, но и с такими лицами, с которыми Караганову стесняться было нечего, как например с отцом, что в этой переписке непременно прокралась, прозвучала бы какая-нибудь нота, указывающая, что добровольное повиновение продолжается только до поры до времени, напоминающая, что слуга имеет власть над своим господином и может заставить его подчиниться его требованиям. Где же во всей этой массе писем, написанных Карагановым Мясникову и к отцу и отцом Карагановым к сыну, где же в них хотя один намек на существование подобных отношений между Карагановым и Мясниковыми?

Обвинительная власть, сознавая отсутствие подобных намеков, указывает вам на то, что Караганов просил Мясникова выкупить его вещи. Какое, в самом деле, громадное одолжение! Да, конечно, если бы Мясников сам пошел в ломбард, ждал очереди, чтоб выкупить вещи Караганова, тогда можно бы

было удивляться, каким образом человек богатый, с известным положением в обществе, может оказывать своему приказчику подобные услуги, но ведь просьба Караганова имела только тот смысл, чтоб Мясников дал одному из своих конторщиков несколько десятков или сотен рублей в счет жалованья Караганова для выкупа его вещей. В письмах Караганова мы имеем прямые указания на то, что эти вещи выкупались именно в счет его жалованья.

Затем у Караганова есть задушевное желание быть переведенным в Козьмодемьянск, желание, высказываемое упорно, постоянно. Как же в таких случаях действует тот, кто боится своего подчиненного? Найдется ли в хозяине преступном, как назвал прокурор Мясникова, достаточно решимости, чтобы постоянно, систематически отказывать преступному приказчику в его неотступной просьбе и довести его, наконец, до того, что в июне 1870 года Караганов пишет отцу о намерении своем оставить службу у Мясниковых? Вам хотели дать понять, что Мясниковы боялись возвращения Караганова в Козьмодемьянск, боя-

лись той обстановки, в которую он будет там поставлен, того влияния, которое будет иметь на него отец; но я думаю, что гораздо опаснее ожесточать, озлоблять человека, отказать ему в том, чего он хочет, опаснее доводить его до крайности, под гнетом которой он может открыто восстать против своего хозяина. Кроме того, у отца Караганова есть другое желание, весьма скромное, исполнение которого возможно без всякого почти убытка для Мясниковых. Отец Караганова в течение всего 1870 года пишет сыну: «Похлопчи, чтоб А. К. Мясников оказал нам благодеяние. Не будет ли их милости дать тебе доверенность на совершение купчей крепости» (на место, которое было когда-то запродано Караганову)? Обратите, выражения этих писем, без сомнения, искренние, потому что они обращены к сыну, а не к Мясниковым. Итак, Мясниковым стоило только выдать купчую крепость или другой владетельный акт на маленький клочок земли, конечно, не имеющий для них большой ценности; между тем мы знаем, что просьба эта остается без исполнения и без ответа в течение всего 1870 года. Так ли посту-

пил бы преступный хозяин? Посмотрим далее на всю переписку Караганова с Мясниковым. Можно ли предположить, чтоб в продолжение 4–5 лет, при неисполнении Мясниковыми многих просьб Караганова, где-нибудь в письмах его не проскользнула нота худо скрытого раздражения или угрозы? Прокурор сослался на письмо И. Мясникова Беляеву, написанное под влиянием не совсем приятных чувств и между тем очень вежливое. Да, это совершенно справедливо – оно вежливо по форме, но между тем в нем ясно звучит известное раздражение и заключается настоятельное требование исполнить то, на что, по мнению Мясникова, он имеет право. Почему же этой ноты, обозначающейся весьма резко в приведенном письме, вовсе нет ни в одном из писем Караганова. Я представил семнадцать писем Мясникова. В деле есть их еще несколько; наконец, есть письма Караганова к отцу, но ни в одном из этих писем он не возмущается, не протестует, а везде всегда относится к хозяину с полной покорностью и почитательностью, без всякого оттенка злобы или гнева.

Нам говорят, Караганов имел непосредственные сношения с Мясниковым. Да, но в чем они заключались? В деловых отношениях, в бумагах, которые сам прокурор признает написанными весьма дельно, основательно. Прокурор говорит, что странное было положение Караганова на заводе: человек ничего не делает, не приносит никакой пользы и получает довольно значительное жалованье; не может быть, чтоб его держали из милости, потому что кого держат из милости, тот не станет безобразничать, наводить страх на окрестность, не станет стрелять под окнами управляющего, бить стекла и т. п.

Но, во-первых, известны ли были все действия Караганова Мясникову? Кто доносил на него? Никто. Кошельков не хотел вмешиваться, Жуков боялся говорить об этом и только однажды решился сказать Мясникову на вопрос его, что Караганов не способен занять место на Кавказе. Поступки Караганова оставались скрытыми от Мясникова; почему – это мы уже знаем. Что же Мясникову было известно о Караганове? Он знал Караганова по письмам, которые тот писал ему, а в этих

письмах Караганов является исполнительным чиновником, довольно проницательным ревизором и человеком драгоценным для собирания деловых сведений о ценах и т. п., даже в то время, когда Караганов представляется, по словам свидетелей, напивающимся до потери сознания, он занимается делами, исправно исполняет свои обязанности, и это доходит до сведения Мясникова, между тем как пьянство Караганова остается ему неизвестным. Что же мог думать Мясников? Конечно, что Караганов служит, как следует, и вполне достоин той тысячи рублей, которая ему отпускалась. Это жалованье не было особенно велико, и если, например, Алексей Беляев получал меньше, то он и занимал должность сравнительно низшую. Если Караганов получал квартирные и разъездные деньги, то лишь во время Деловых путешествий; обыкновенно же он получает с самого поступления на службу в 1866 году одно и то же жалованье. Он требует прибавки; но, как мы знаем из показаний Жукова, требование его не удовлетворялось, и до самого конца он получал только 1000 рублей. Следовательно, с какой

стороны мы ни подойдем к положению Караганова, мы везде находим положение это вполне соответствующим тому, в каком находятся обыкновенно служащие у богатого человека. Наконец, можно ли придавать полную веру отзывам о буйстве и странностях Караганова? Несомненно то, что он пил; несомненно, что у него была белая горячка, припадки которой часто повторялись и под влиянием которой он производил поступки довольно бесчинные. Но чтоб он ходил в театр и платил палкой за билет – это факт, подлежащий большому сомнению. Об этом пишет один из ростовских агентов Мясникова, в то время, когда Караганов был прислан в Ростов на ревизию и когда могли желать от него поскорее отделаться. Таким образом, все письмо, может быть, имело целью лишь отозвание Караганова из Ростова.

Таким образом, приближаясь к 1870 году, мы застаем Караганова на заводе в положении вполне нормальном, и если за ним следили, как говорит прокурор, то следили только в тот очень короткий промежуток времени, когда Мясников должен был знать о месте

нахождения Караганова для того, чтоб в случае надобности немедленно представить его к следствию. Если б Мясников в это время потерял Караганова из вида и если б следовательно обратился к нему с вопросом о Караганове, то отсутствие сведений об этом в конторе Мясникова послужило бы основанием к подозрению, что Мясниковы Караганова скрывают. Вот весьма естественное объяснение того, что в период времени, когда производилось первое следствие, о Караганове сообщались сведения в центральную контору, а иногда оттуда передавались А. Мясникову; но как только предварительное следствие окончилось, Карагановым перестали заниматься. Говорят, что его не отпускали с завода. Это несправедливо; это опровергается фактами. Если вы припомните показания Жукова и письма Караганова, написанные в конце 1869 года из Воронежа, то вы убедитесь, что Караганов разъезжает по делам завода и своим собственным, живет то в Тамбове, то в Воронеже. Если могли опасаться, что он проговорится отцу, то почему же не боялись, что он проговорится в Тамбове, где жили его род-

ные? Наконец, разве нельзя было ожидать, что в один прекрасный день Караганов, уехав с завода без всякого распоряжения, соскучится постоянным неисполнением его просьбы и явится в Козьмодемьянск, притом озлобленный против тех, которые так долго мешали осуществлению его заветной мечты?

Прежде чем расстаться с Карагановым, я должен остановиться на одном эпизоде, оценка которого должна быть совсем не та, какая сделана представителем прокурорского надзора. Мы, действительно, видим спаивание Караганова, но не то, о котором сказано было в обвинительной речи. Мы знаем, что в течение последних двух месяцев пребывания Караганова на заводе в этой местности появляется сначала одно лицо, потом другое, никому не известные, бог знает, для чего прибывшие туда. Говорят, что они приехали торговать завод, но они исчезают, как только Караганов был арестован. Один из них, известный под именем Виктора Ивановича Кононова, проводит все время только с Карагановым, как показывает Жуков; они вместе ходят по кабакам, трактирам и вместе пьянствуют. Это

продолжается систематически полтора месяца, и последствием этого являются два свидетеля, показания которых дают повод к началу следствия, показания о том, что Караганов проговорился, сознался. Посмотрим на эти показания. Странно, во-первых, каким образом Кулаковский и Киселев, которые, как объяснили, никому не рассказывали о слышанном, каким образом они являются свидетелями. Невольно рождается предположение, что они не случайно присутствовали при разговоре Караганова с Кононовым, что нужно было быть кому-нибудь свидетелем этого разговора. Во-вторых, соответствуют ли их показания личности Караганова? Личность его выяснилась так, как редко выясняется личность подсудимого; редко мы имеем такую массу неопровержимых разнообразных сведений, какая у нас есть о Караганове. Караганов – человек деликатный, не позволяющий себе резких выражений; все его письма дышат спокойствием, чувствительностью; в них не встречается ничего цинического, ничего грубого. И вот этот-то человек, говоря о Беляеве, которого он ставил очень высоко, которо-

го он считал главным воротилой всех Мясниковых дел, говорит, что «обработал лысого, беззубого старика, бывшего лакея Мясниковых и не оставил ему ни копейки на извозчика, чтоб проехать на тот свет», – выражения, может быть, употребительные в известной сфере, но вовсе не соответствующие натуре Караганова и его способу выражений на словах и на письме. Обвинение говорит, что, быть может, лица, проживавшие полтора месяца на заводе, были агенты сыскной полиции, и если это были они, то действия их приносят им честь, так как они способствовали открытию преступления. Я совершенно расхожусь с прокурором во взглядах на честь сыскной полиции. Я вполне признаю необходимость сыскной полиции, но я полагаю, что агенты ее должны действовать средствами честными. Если они узнают, например, что такой-то человек сказал такие-то слова, заключающие в себе указание на преступление, они имеют полное право устроить так, чтоб он повторил эти слова в их присутствии; но систематически вызывать человека на эти слова, систематически спаивать его, я полагаю,

гаю, они права не имеют. Я вовсе не знаю, действовали ли в данном случае агенты сыскной полиции. Быть может, это были лица, действовавшие из частного интереса.

Прокурор сам заметил, что в настоящем деле многие частные лица принимали на себя расследование разных обстоятельств или из усердия, или из личных видов. Нам хотелось разъяснить этот вопрос, весьма интересный для дела. Мы просили о вызове четырех агентов сыскной полиции, из которых о двух носился слух, что это именно лица, работавшие в Воронежской губернии. Нам было в этом отказано и предоставлено пригласить их от себя в заседание суда; но этого сделано не было, потому что такое приглашение не могло иметь никаких последствий. Итак, я скорее склоняюсь к мысли, что это были частные лица, потому что не допускаю, чтобы агенты сыскной полиции могли вести себя так, как вел себя Кононов в Задонском уезде. Между тем деятельность Коконова могла иметь весьма серьезные последствия. Если обратиться к человеку, нравственные силы которого потрясены продолжительным пьян-

ством или другим каким-нибудь несчастьем, быть может, несчастной супружеской жизнью, если действовать с известным искусством на его больную струну, если постоянно говорить с ним о его усердии к службе, о тех миллионах, которые он доставил своим хозяевам, его можно довести до того, что он возведет на себя с целью похвастаться, небывалое преступление, совершенное в пользу хозяев, и, возведя его на себя однажды, сам начнет верить в его существование. Мысль, однажды попав в голову человека, расстроенного физически и умственно, продолжает работать и может окрепнуть так, что, наконец, вложенная извне, она может привести человека к полному убеждению, что он сделал известное дело и будет твердить каждому, что это справедливо. Вот, мне кажется, ключ к объяснению поведения Караганова в Задонском уезде. Караганов давно уже знал, что его подозревают или обвиняют в составлении завещания Беляева. Ему говорили об этом в 1865 году, когда он служил у Красильникова, говорили Ижболдин, Матвеев я, по всей вероятности, сам Красильников, требуя от него созна-

ния; ему говорили, что невозможно, чтобы он не принимал никакого участия в этом деле. Он постоянно отрицал это или молчал. Затем проходит несколько лет; его способности ослабевают; он не имеет более той силы сопротивления, какой обладал прежде; старая мысль, заброшенная вновь в голову его тем лицом, с которым он проводил время в конце 1870 года, развивается, укрепляется и доходит до степени несомненного убеждения. Вот почему я позволяю себе утверждать, что показание Караганова не имеет никакого существенного значения и недостаточно для того, чтобы послужить основанием даже к предположению о фальшивости завещания. Покончив, таким образом, с показанием Караганова, я считаю себя вправе перейти к другому существенному вопросу – о подложности завещания, и рассмотреть те второстепенные, мелкие соображения, с помощью которых обвинительная власть старается доказать, что завещание не могло быть подписано Беляевым.

Прежде чем перейти ко второй части моей речи, я должен несколько дополнить

первую часть. Я забыл напомнить вам, господа присяжные, о двух письмах, которые имеют существенное значение в настоящем деле: о письме Караганова к отцу в 1866 году, в котором он говорит, что виновен в каких-то не известных ему самому проступках, и потом о письме отца Караганова к сыну в январе 1869 года, где он пишет, чтобы сын сообщил ему сведения о деле по наследству Беляева, в котором его так безвинно считают участником. Если сопоставить эти письма с так называемым завещанием Караганова, на которое ссылался прокурор, то завещание – это теряет тот смысл, который ему придается. В конце его сказано, что Караганов винит себя в некоторых неосмотрительных проступках молодости, которые отчасти известны отцу его. К числу этих проступков не может принадлежать подписание завещания от имени Беляева, так как в этом, по словам отца Караганова, его безвинно подозревают.

Затем, господа присяжные, мне следует обратиться к вопросу о завещании. Противники мои, разбирая завещание со всех сторон, стараются доказать недействительность его как

по внешней форме, так и по содержанию. Прежде всего говорят: вероятно ли, чтобы человек – такой аккуратный, такой деловой, как Беляев, писавший собственноручно самые пустые доношения, подписывавший конверты, чтобы этот человек мог, во-первых, не написать сам своего духовного завещания и, во-вторых, подписаться просто «Козьма Беляев»? Вероятно ли, чтоб человек, пишущий ясно, с достоинством, мог написать завещание так неудачно, так темно, неполно во всем, что касается существа, и так многоречиво во всем, что касается формы. Мне кажется, что здесь с первого же раза мы вступаем на почву чрезвычайно топкую. Когда мы догадываемся о действиях известного лица по общему характеру его, то мы всегда находимся в опасности впасть в заблуждение. Нет человека, который действовал бы всегда под влиянием одних и тех же правил; нет человека аккуратного, который не допускал бы иногда медлительности, и т. д. Есть справедливая русская пословица, которая говорит, что «на всякого мудреца довольно простоты». Нет человека, за которого мы могли бы поручиться, что при из-

вестных условиях он будет действовать так, а не иначе. Следовательно, если мы говорим, что завещание недействительно, потому что не написано собственноручно Беляевым, потому что написано не ясно и не точно, то мы утверждаем такое обстоятельство, которое не может быть доказано и весьма легко может не существовать на самом деле. Литературно образованный человек, привыкший владеть пером, при известных условиях может написать несвязное письмо или прибегнуть к посторонней помощи, к чужому перу. Мы знаем, что Беляев не всегда писал сам, мы знаем, что не только доношение в Опекунство, но и письма, например, письмо к Алоизию Матвеевичу, были писаны не его рукой; следовательно, общего правила, в силу которого можно было бы сказать, что он всегда писал сам, не может быть установлено. Но если бы это и было так, то можно ли утверждать, что человек больной, страдания которого выражаются в мучительных пароксизмах, не мог один раз нарушить свою обыкновенную привычку и прибегнуть к чужой помощи, чтобы написать хотя бы и важный документ. Если обвинитель-

ная власть обращается ко всякого рода догадкам, то, мне кажется, и мне позволительно будет прибегнуть к одному очень простому предположению: Беляев почувствовал более сильный пароксизм своей болезни, он почувствовал, что не в состоянии писать и вместе с тем боялся последней минуты. Он призвал Целебровского[3], – быть может, даже не призвал, быть может, Целебровский был у него, так как несомненно, что Целебровский был постоянным адвокатом Мясниковых, делами которых заведовал Беляев, и сверх того занимался разными делами самого Беляева, как видно из черновых прошений дневника, – он мог быть в ту минуту под рукой, когда с Беляевым сделалось дурно. Говорят: зачем он не обратился к конторщику, а к Целебровскому? Но главный конторщик Шмелев не мог быть переписчиком завещания, потому что в нем была назначена выдача в пользу Шмелева; притом Целебровский был юрист и мог знать, как составляется завещание. Нам скажут, что Беляев был сам деловой человек; да, это так, но он, конечно, не был юристом. Припомните, например, что в 1845 году он посылал к

И. Ф. Мясникову проект расписки, определяющий порядок представления Беляевым отчетов не только при жизни, но и после смерти И. Ф. Мясникова. Я полагаю, что не только юрист, но и всякий человек, имеющий некоторое понятие о наших законах, понял бы, что такая расписка необязательна, что никто не может стеснять своих наследников в требовании отчетов от бывшего управляющего наследственным имуществом. Что Беляев не был юристом, мы имеем тому еще и другое доказательство, уже прямо относящееся к вопросу о завещании; мы имеем обрывок, написанный карандашом и сохранившийся в бумагах А. Мясникова (хотя в настоящее время и играющий роль улики против него) – обрывок, на котором рукой Беляева написано, что сия моя последняя воля и т. д.

Понятно, что это человек опытный продиктовал Беляеву, как следует подписаться на завещание. Как бы то ни было, Беляев обращался с просьбой к Целебровскому, тот пишет завещание, и если предположить, что Беляев был болен, ему не время было рассматривать, правильно ли и изящно ли пишет Це-

лебровский; он просит только написать так, чтобы все состояние перешло к жене. Целебровский, с некоторыми замашками, свойственными старым адвокатам, пишет действительно не совсем хорошо и просто текст завещания. Далее указывают на то, что Беляев непременно бы подписался под завещанием полным своим званием; но не говоря уже о том, что ему могла помешать болезнь, сам прокурор замечает совершенно справедливо, что когда в тексте официального документа есть полное означение звания лица, тогда повторение того же в подписи является излишним; между тем в завещании именно сказано «фридрихсгамский первостатейный купец» и т. д. Кроме этого, Беляев мог рассчитывать, что то же самое подробное обозначение его звания будет сделано в свидетельских подписях; это действительно и случилось. Вот почему он мог подписать завещание словами «Козьма Беляев»; но еще более простое объяснение этого обстоятельства заключается в том, что он был болен, что ему трудно было написать более двух слов.

Требования, с которыми мои противники

относятся к внутреннему содержанию завещания, кажутся мне еще более неосновательными. Говорят, например, что Беляев как человек богомольный не мог не оставить чего-нибудь на поминование души, на церкви и монастыри, что он не мог забыть родных, которых так нежно любил, да мог уделить Рemyнниковой такую малую долю своего имущества, не мог вовсе лишиться наследства другую сестру Мартьянову, бедственное положение которой так красноречиво описано в обвинительной речи. Но опять-таки мы входим здесь в область таких предположений, которые ни к чему определенному привести не могут. Кто может сказать про самого близкого своего приятеля, как он в данную минуту распорядится своим имуществом? Кто может усомниться в завещании только потому, что в нем ничего не оставлено человеку, которому по чьим-нибудь соображениям следовало бы что-нибудь оставить? У каждого из нас свой взгляд, свои убеждения, постоянно изменяющиеся: сегодня я могу быть расположен к одному родственнику и ему завещать свое имущество, завтра расположение мое изме-

няется, и я не оставлю ему ничего; поэтому удивляться, что в завещании Беляева мало оставлено одной сестре и ничего не оставлено другой, совершенно невозможно. Наконец, где основания предполагать, что Беляев должен был оставить что-нибудь Мартьяновой, где указания на то, что между Мартьяновой и Беляевым существовали, в момент смерти последнего, братские отношения? Если бы такие отношения существовали, то неужели Мартьянова или ее наследники не могли бы отыскать в ее бумагах хотя бы одно письмо Беляева, когда они отыскали и представили важные, разве только для защиты, письма Мартьяновой к Беляевой и Ремянниковой, не дошедшие по адресу. Не очевидно ли, что Беляев вовсе не писал Мартьяновой? В исходящем журнале Беляева мы не видим никакого указания на выдачи пособия Мартьяновой; наконец, из показания Ремянниковой мы знаем, что Беляев при жизни был в весьма дурных отношениях с сестрой и ее сыном. Что же касается до бедности Мартьяновой, то я попрошу вас только припомнить, что эта бедность описывается ею в письме 1861 года, а в

1858 году, незадолго до смерти Беляева, мы не знаем, в каком положении находилась тогда Мартьянова, и не только не знаем этого мы, но не знал этого, вероятно, и сам Беляев. Таким образом, все соображения, касающиеся этих недомолвок в заседании, должны быть устранены.

Далее говорят, что если Беляев сделал такое завещание в момент болезни, то почему он не воспользовался первым свободным промежутком, первой свободной минутой, чтобы написать новое завещание? На это есть одна очень простая причина. Прокурор упомянул о суеверии, с которым весьма многие в нашем обществе смотрят на завещание, в особенности в купеческом быту. В минуту опасности, в момент сильнейшей боли Беляев мог преодолеть это чувство, которое до тех пор мешало ему, вопреки высказываемой неоднократно воле, составить завещание в пользу жены; но затем в здоровые минуты опять могли возобновиться грустные мысли о смерти, сопряженные с составлением завещания, и могли помешать ему переменить изложение его последней воли.

Наконец, когда подписались свидетели? Все подписи сделаны разными чернилами; поэтому говорят – надо предполагать, что они сделаны в разное время. Но я прошу вас обратить внимание на то, как шатки выводы, основанные на цвете чернил; прошу вас припомнить, что на одной странице расходной книги Беляева, которая была вам предъявлена, в очень короткий промежуток времени встречаются отметки, сделанные совершенно разными чернилами. Различие в цвете чернил может зависеть и от пера, и от подбавки воды в чернила, и от того, что в кабинете Беляева было несколько чернильниц; наконец, Целебровский мог писать в конторе, Сицилийский – подписал завещание в кабинете Беляева несколько раньше Отто и т. д. Одним словом, тут является весьма широкий простор для самых разнообразных предположений, столь шатких, что ни на одном из них нельзя остановиться и которые ни к чему привести нас не могут.

Нам говорят, далее, если Отто присутствовал при составлении завещания, зачем он не успокоил Беляева, сказав ему, что нет причи-

ну спешить, что проживет еще долго? Но если даже и предположить, что Отто был именно, в ту минуту у Беляева, то разве он не знал, что болезнь опасна, что Беляев может умереть со дня на день? Кроме того, Отто мог совершенно не знать, какое преимущество имеет завещание, написанное собственноручно; следовательно, убеждать Беляева, чтобы он переменял завещание или отложил составление его до другого времени, не было для Отто никакого основания. Нам говорят, что если Беляев считал себя в эту минуту опасно больным, то ему прежде всего следовало послать за женой. Но где же доказательство, что она была тогда в Ораниенбауме? Завещание писано 10 мая, а у нас нет никаких сведений о том, когда именно Беляева переехала на дачу; есть, напротив, полное основание думать, что по случаю болезни Беляева поездка на дачу была отложена и совершилась позже, так что 10 мая Беляева еще была в Петербурге. Наконец, нас спрашивают, неужели Беляев мог оставить такое неопределенное, такое темное завещание? Неужели он не мог сказать, какие у него дела, в чьих руках его капиталы, на ко-

го он имеет претензии? Ведь он поставил жену свою в какой-то лабиринт, из которого невозможно было ей выйти. Не говоря уже о том, что завещание, написанное в общих словах, – явление весьма обыкновенное, я приведу только два существенных соображения по этому поводу. Беляев был человек, бросавшийся слишком поспешно на разные предприятия и, следовательно, хорошо знавший, что состав его имущества колеблется, изменяется, что перечислять в завещании имущество, которое ему принадлежало в тот день, значило подать повод к недоразумениям, дать основание думать, что он не хотел оставить своей жене имущества, им впоследствии приобретенного. Одним словом, человеку торговому, постоянно производившему со своим состоянием разные обороты, всего естественнее было составить завещание в общих выражениях. Это предположение находит весьма важное подкрепление и том отрывке вне завещания, написанном собственноручно Беляевым, где сказано: «ей же, жене моей, передаю все права мои по обязательствам с казной и частными лицами» и т. д. –

выражения, самые общие, неопределенные; нет никаких указаний на то, какие у Беляева контракты, с какими частными лицами они заключены, какие у него или на нем долговые обязательства. Следовательно, завещание 10 мая соответствует вполне этой форме, в которой начато собственноручное его завещание.

Наконец, господа присяжные заседатели, я перехожу к тому вопросу, который я считаю одним из самых важных, – к вопросу о свидетельских подписях. Прежде всего нельзя не удивиться тому, что на завещании, которое считают подложным, подписываются такие лица, честности которых отдается полная справедливость обвинительной властью. Обыкновенно, когда делается подложное завещание, ищут свидетелей снисходительных, не очень строго относящихся к требованиям закона, чести и справедливости, обыкновенно прибегают к известного рода людям, которые промышляют фальшивыми свидетельскими показаниями или подписями. Если таких людей нет под рукой, обращаются к людям маленьким, ничтожным, которым доста-

точно дать незначительную сумму денег, чтобы заставить их молчать. Но чтобы для этого обращались к лицам, подобным Сицилийскому и Отто, высокая нравственность которых признается всеми, это представляется чересчур странным. Этот факт, неслыханный в судебных летописях, стараются объяснить, говоря, что свидетели сделали подпись по доброту, по благодушию, не зная, что завещание подложно; притом их ловко подвели, заставили их подписаться очень обстоятельно и подробно, так что, когда они явились в Гражданскую Палату, им оставалось только подтвердить, что действительно они подписались на завещании.

Говорят также, что будто бы в нашем обществе существует такое мнение, что подписаться свидетелем на завещании можно и после смерти завещателя, если только есть убеждение, что завещание действительно подписано им самим. Но я не вижу, на чем основываются эти предположения; я не понимаю, каким образом люди образованные, понимающие закон, или, по крайней мере, требования обыкновенной справедливости, мо-

гут думать, что свидетельская подпись, требуемая законом, – не что иное, как пустая формальность, и что в этой подписи позволительно говорить неправду. Напротив, всякий знает, что завещание, подписанное завещателем и не подписанное свидетелями, равняется нулю; мог ли не знать этого Сицилийский, священник, духовный отец, которому в течение его 70-летней жизни пришлось подписать, быть может, более 50-ти завещаний, мог ли не знать этого Отто, доктор, одно из тех лиц, к которым всего чаще обращаются с просьбой подписаться свидетелем на завещании?

Господа присяжные! Что это за лица, о которых говорят, что они согласились подписаться на завещании, зная, что завещание недействительно? Были ли эти люди безнравственны или, по крайней мере, легкомысленны, готовые согласиться на всякую услугу? Нет, здесь были вопросы, дававшие свидетелям возможность отвечать в этом смысле; но на каждый такой вопрос они отвечали совершенно не так, как от них ожидали. Например, спрашивали свидетеля Клейнмихеля относи-

тельно Сицилийского: это человек был добрый? Он отвечал: строгий. Спрашивали свидетеля Слепцова относительно доктора Отто: он готов был оказать всякому услугу? Он отвечал: смотря по тому, какого рода была услуга. Все показания свидетелей клонятся к тому, что Сицилийский и Отто не были добрыми малыми, в обыкновенном смысле этого слова, готовыми для компании сделать и не совсем хорошую вещь; это люди, понимающие значение чести и нравственности, люди, которые никогда не согласились бы сделать лживый проступок, зная, что после этого им по меньшей мере придется перед судом показать неправду. Неужели вы думаете, что Сицилийский, проживший более 70-ти лет, бывший в звании священника 50 лет, не знал, что ему придется пойти в Гражданскую Палату и сказать, что, подписывая завещание, он видел завещателя и нашел его в здравом уме и твердой памяти? Неужели Отто, человек, также не молодых лет, доктор, никогда не подписывал завещаний и не знал, какую обязанность налагает свидетельская подпись на того, кто ее сделал? Говорят, что форма для

свидетельских подписей в настоящем случае не без цели была избрана весьма подробная; но я полагаю, что это предположение совершенно ошибочно. Если действительно было намерение воспользоваться легкомыслием свидетелей, то достигнуть этого было гораздо легче, дав им форму подписи, по возможности, короткую, неопределенную, а потом, когда они уже ее сделали, сказать им: «Теперь вы связаны, вы должны сказать, что видели завещателя и подписали при его жизни, потому что иначе вы подвергаетесь большой опасности». Им же, напротив, предлагают такую подпись, что они ни на минуту не могут сомневаться в том, что пишут неправду. Итак, признать, что Сицилийский и Отто подписались на завещании после смерти Беляева, значило бы навсегда запятнать и опорочить их память, потому что нельзя легкомысленно относиться к подобным вещам, нельзя утверждать, что люди, заведомо сделавшие ложную подпись, все-таки могли быть людьми честными. Если б Сицилийский и Отто подписали завещание после смерти Беляева, не обдумав значения этого поступка, то они по-

няли бы его в присутствии палаты и постарались бы его загладить. Не забудьте при этом, что Нет закона, который назначил бы наказание человеку, подписавшему завещание после смерти завещателя, если он, придя в Палату, сознается в своей ошибке. Следовательно, если Сицилийский и Отто, вызванные в Палату, подтверждали, что видели завещателя при его жизни и по его личной просьбе подписали завещание, а без этого оно и не было бы утверждено, то они поступили вполне сознательно и закрепили то действие, которое совершили, подписываясь на завещании. Всякое предположение о том, что они подписались после смерти Беляева, равносильно предположению, что они оба, рекомендованные нам за людей высокой честности, были люди вполне безнравственные. Намекают, впрочем, и на то, что один из этих добрых людей, подписавших завещание только из благодушия, из услужливости, был, однако, настолько практичен, что получил вознаграждение за свою услугу; говорят, что все многочисленное семейство Сицилийского пользовалось пособиями Мясниковых. Значит, Си-

цилийский сказал своему семейству, тем лицам, которые должны были более всего уважать его, «вот, мои дети, я на старости лет сделал нехорошее дело, но оно даст вам возможность, когда хотите прийти к Мясниковым и потребовать от них 100–150 рублей». Можно ли решиться на такие предположения, когда дело идет о чести людей, незапятнанных в продолжение всей их жизни? Сицилийский получал одолжения при жизни Беляева; что же удивительного, что его дети получали от Мясниковых незначительные суммы, вроде ста или полутора ста рублей. Это вполне нормально, и если свидетель Хохов был выставлен для того, чтобы показать об этом во время заседания, то это доказывает только, как важно для обвинительной власти поколебать веру в нравственность Сицилийского и Отто и как мало у ней для того оснований. Здесь, господа присяжные, слабая сторона обвинения и вместе с тем сильная сторона защиты, которую вы не можете обойти иначе, как признав, что Сицилийский и Отто были люди без чести, без совести.

Прежде чем идти далее, я должен упомя-

нуть об одном доказательстве, которое играет некоторую роль в речах моих противников, о той экспертизе, которая была вами выслушана. Я считаю себя тем более вправе выразить свой взгляд на экспертизу, как на доказательство, не имеющее никакого существенного значения, что недавно еще, когда дело о завещании Беляева производилось в гражданском суде, я высказал то же самое мнение, хотя экспертиза в то время склонялась в пользу действительности завещания. Я понимаю значение экспертизы там, где требуются специальные познания, где ни один из нас, людей, обладающих общим образованием, не может сказать утвердительно, как следует смотреть на дело. Но когда экспертиза касается предметов, доступных почти каждому из нас, когда она касается вопросов, которые этим путем разрешены быть не могут, то я полагаю, что значение ее самое ограниченное. Я полагаю, что при сличении почерков, очень часто совершенно против воли и незаметно для самих граждан экспертов, играет роль та обстановка, при которой приходится давать заключение, и вот почему в настоящем деле

часто изменялись воззрения экспертов. Вот почему те самые лица, которые при предшествовавших исследованиях приходили к одному убеждению, теперь приходят к противоположному; а другие, оставшиеся верными своему взгляду, прежде взгляд этот мотивировали так, а теперь мотивируют его иначе. Не доказывает ли это, с одной стороны, что характер экспертизы соответствует характеру того момента, в который она производится, – повторяю, против воли граждан экспертов, – а с другой стороны, что она вся с начала до конца построена на самых шатких основаниях. Я не стану припоминать вам всех тех противоречий в разных экспертизах по настоящему делу, которые были мною своевременно указаны; припомню только одно: когда производилось сличение почерков на предварительном следствии в прошедшем году, эксперты, из которых многие явились сюда, показали, что подделка есть, но весьма грубая, плохая и те же самые эксперты в один голос в настоящем заседании объявили, что подделка должна быть признана очень искусной, и, следовательно, стали вразрез с тем мнением, которое

было высказано ими ранее. Наконец, припомните показание эксперта Иванова, из которого видно, что хотя ответы и даны экспертами единогласно, но что один и тот же вывод построен разными экспертами на различных основаниях. Какие же основания имелись в настоящее время для признания подписи сомнительной? Эксперты объяснили, что одно из этих оснований – большая крупность букв в подписи на завещании. Обстоятельство это было только раз замечено при прежних экспертизах, и притом только теми экспертами, которые признали, что подпись похожа. Затем эксперты указали на некоторую нетвердость почерка. Эта нетвердость опять-таки была признана той же первой экспертизой, которая высказалась в пользу подлинности завещания. Притом нетвердость почерка или отдельность каждой черты, о которой говорили перед нами эксперты, разве не может быть объяснена болезненным состоянием Беляева? Когда человек пишет твердой здоровой рукой, он пишет большей частью связно, пишет свою фамилию обыкновенно одним размахом пера; но когда он пишет среди ис-

пытываемой им сильной боли, то нет ничего удивительного, что каждая буква им пишется отдельно, так как каждая черта, каждое движение стоят ему чрезвычайных усилий. Подпись, которую считают сделанной человеком больным, скорее тогда была бы сомнительной, если бы была сделана твердой рукой.

Сверх того, во время производства дела очень большую роль в отзывах экспертов играли разные вопросы, которые на суде совершенно устранены.

Те эксперты, которые признавали подпись сомнительной, говорили в подтверждение своего мнения, что Беляев подписывался без росчерка с буквой «ъ» или с росчерком, но без буквы «ъ»; в завещании же имеются и росчерк и буква «ъ». Это играло громадную роль при первых экспертизах. Теперь же, когда доказано, что есть несомненные подписи Беляева, такие же, как на завещании, естественно это обстоятельство теряет значение. То же самое следует сказать и о точке, которую Беляев будто бы всегда ставил после своей фамилии. Теперь утверждают только, что подпись Беляева без точки и с росчерком при «ъ», – как вы

думаете, господа присяжные заседатели, что обыкновенно общее правило или исключение? Я полагаю, что никто не усомнится в том, что берется за образец подпись обыкновенная, чаще всего встречающаяся, а когда при этом имеется еще секрет, столь легко угадываемый, как точка, то каждый подделыватель непременно поставил бы эту точку.

Я обращаю ваше внимание еще на одно весьма важное обстоятельство: в глазах обвинительной власти весьма большую роль играют все те внешние особенности завещания, выставляемые на вид экспертами, которые должны убедить вас в фальшивости завещания. Но где же находилось завещание во время производства дела? Хранилось ли оно в таком месте, откуда Мясниковы или Беляевы, при всем своем желании, не могли добыть его и уничтожить? Нет. Завещание весьма часто возвращалось в руки Беляевой, даже после того, как производилось первое следствие по настоящему делу. Чего стоило бы человеку, сознающему свою преступность, истребить завещание и вместе с ним материальное доказательство преступления? Троекратное

представление завещания к делу, в последний раз в 1870 году, является, по моему мнению, гораздо более важным, чем та шаткая, смутная экспертиза, на которую ссылается перед вами обвинительная власть.

Затем вам представляется со стороны обвинения целый ряд соображений, касающихся способа появления завещания на свет, как оно было передано Беляевым своей жене, как было принято ею и представлено к засвидетельствованию. Вот те вопросы, которые обсуждаются поверенным гражданского истца и представителем обвинительной власти с весьма большой подробностью. Прежде чем перейти к этому, я должен возвратиться несколько назад и показать оборотную сторону вопроса о подложности завещания.

Вам представлялись, господа присяжные, разные доводы, говорящие в пользу подложности завещания. Я уже указывал вам на личность свидетелей, подписавшихся на завещании, как на аргумент в пользу действительности завещания; но посмотрим, в самом завещании нет ли еще указаний на то, что оно не подложно. Во-первых, на чем преимуще-

ственно основывают мои противники свой спор о подлоге? На том, что Беляев в мае месяце был человеком довольно крепким, ездил на торги, писал разные бумаги и, следовательно, должен был написать завещание сам. Но представьте себе, что завещание было бы помечено 23 сентября, днем, предшествовавшим смерти Беляева. Тогда все эти соображения пали бы безвозвратно. Самые ярые ревнители аккуратности Беляева должны были бы сознаться, что Беляев накануне смерти был настолько слаб, что не мог написать завещания сам и не мог даже подписать его с полным означением своего звания; но этого нет: на завещании выставлено 10 мая. Кто составляет подложный документ, и в особенности так обдуманно, так тонко, как составлено в данном случае завещание, по словам поверенного гражданского истца, тот не мог обойти такого простого вопроса, почему же именно выбрано 10 мая? Что за странность! Ведь, таким образом, составитель завещания добровольно окружает себя опасностями, дает не только повод утверждать, что в этот день Беляев был здоров, но и возможность доказать,

что он не был дома, возможность сличать подпись Беляева на завещании с почерком его в дневнике того же числа, словом, без всякой надобности усложняет задачу и затрудняет успех задуманного дела. Что могло помешать пометить завещание 23 сентября?

Мы знаем, что Целебровский был в это время в Петербурге, Отто лечил больного, а Сицилийский приходил к нему в самый день смерти. Стало быть, подписи их могли быть отнесены к этому числу. Наконец, если подпись была сделана Карагановым на белом листе бумаги и нужно было подгонять текст к этой подписи, то не проще ли было призвать Караганова и приказать ему сделать еще подпись, и Караганов еще с большей легкостью тотчас бы сделал новую подпись, быть может, еще лучшую, чем первая. Что же было стесняться с Карагановым? Раз заручившись помощью его, можно было написать завещание совершенно спокойно, на досуге, не торопясь, со всеми подробностями и формальностями, и, быть может, Караганов изловчился бы так, что подписал бы полным титулом Беляева, если уже с первого раза он дошел до такой сте-

пени совершенства.

Прежде чем покончить с завещанием, я должен указать один несомненный факт, имеющийся в деле, — намерение Беляева сделать завещание. Факт этот не оспаривается даже и обвинением; но, тем не менее, я считаю долгом напомнить те указания, которые мы имеем по этому предмету. Во-первых, это доказывается обрывком, написанным рукой Беляева и найденным при обыске у Мясникова, а во-вторых, показаниями свидетельницы Сицилийской, которая говорит, что в присутствии ее шла речь о каком-то лице, умершем без завещания, и Беляев сказал, что с ним этого не случится. Что этот разговор был, в этом, конечно, нельзя сомневаться. Думаю, что Сицилийская, женщина пожилая и почтенная, произвела на вас такое впечатление, что вы не заподозрите ее в желании показывать фальшиво для того, чтобы прибавить один слабый довод ко всем другим основаниям защиты. Затем вы слышали показание свидетельницы Ивановой. Если бы оно было обдуманно, подготовлено, как на то намекали, то оно, конечно, было бы дано иначе. Если бы

Иванова сговори́лась с Беляевой, то она, разумеется, не сказала бы, что слышала, будто Беляевой сделано было завещание в пользу мужа, между тем как Беляева объяснила уже по выслушании показания Ивановой, что она такого завещания никогда не составляла. Говорят еще, как могла Иванова слышать подобный разговор в 1857 или 1858 году по поводу смерти Громовой, когда Громова умерла в 1856 году, но неужели разговор об отсутствии завещания может идти только сейчас после смерти известного лица? Быть может, была какая-нибудь тяжба, какие-нибудь семейные несогласия, и по этому поводу возник разговор о завещании. Следовательно, одно из двух – или завещание Беляева в то время было составлено, или же выражалось такое твердое намерение его составить, от которого до исполнения один шаг, задерживавшийся, может быть, боязнью смерти, но совершившийся, наконец, под влиянием болезненных припадков, заставлявших Беляева опасаться внезапной кончины. Поверенный гражданского истца, с помощью исторических фактов, результатов и своих собственных разго-

воров с кавказским генералом утверждает, что совершению всякого события предшествует смутный говор и что такой говор предшествовал появлению завещания, но здесь поверенный гражданского истца снова возвращается к той массе показаний, которые мы откинули уже по общему согласию. Где же доказательства тех слухов и толков, на которые ссылается поверенный? Нет ни одного добросовестного свидетеля, заслуживающего доверия, который бы говорил об этом. Поверенный гражданских истцов сослался только на свидетеля Китаева, того самого, все показания которого исполнены противоречий и который объяснял их невнимательностью своею у судебного следователя. Слух о подложности завещания мог появиться среди дворни, недовольной тем, что в завещании ей не было ничего оставлено, и вследствие этого заподозрившей его подлинность; но это было уже после открытия самого завещания. Слух распространился, когда Красильников поехал к Ракееву заявить о подложности завещания. Замечу мимоходом, что Красильников старался набросить тень на Сицилийского; но вы

также слышали, что показал по этому поводу Ракеев, Пущенный, таким образом, слух, конечно тотчас был подхвачен. Как известно, в некоторых слоях нашего общества весьма рады подхватить всякую скандальную историю и в особенности такую, где замешана богатая фамилия Мясниковых; но о появлении завещания, повторяю, никаких слухов, никаких толков не было.

Поверенный гражданского истца говорит, что в первое время после смерти Беляева сама Беляева говорила и другие лица тоже показывали, что завещания нет. В этом отношении он основывается опять на тех же показаниях устраненных свидетелей, и вот является на сцену забытый нами Штеммер, который отыскивает свидетельницу Синцову в Измайловском полку и тащит ее против воли давать показание, Штеммер, который не признает на суде своих собственных писем, Штеммер, который ездил уговаривать Авдотью Кемпе пойти по этому делу в свидетельницы и показать, что ее сын, служивший когда-то у Мясниковых, слышал о подложности завещания. Вот кто должен появиться на сце-

ну, если захотят доказать, что Беляева, Целебровский и Отто говорили, что завещания нет. Я полагаю, что можно совершенно спокойно устранить таких свидетелей и никогда более не возвращаться к ним.

Затем перехожу к разбору показания Беляевой, показания, конечно, весьма существенного в настоящем деле. Прежде всего я не могу не заметить разницы в отношениях к Беляевой обвинительной власти и поверенного гражданского истца. Обвинительная власть признает возможным совершенно откинуть показание, данное Беляевой в 1871 году на втором следствии, показание, данное Беляевой, по ее словам, под влиянием испуга. Поверенный гражданского истца опирается в особенности именно на это показание Беляевой и останавливается на вопросе, можно ли верить испугу Беляевой?. Не знаю, трепетная ли лань Беляева, но во всяком случае знаю, что она боязливая женщина. На это есть два указания: во-первых, свидетель Погожев показал, что она боялась не только дела о завещании, но и всяких пустяков; во-вторых, ее образ действий в нашем присутствии подтвер-

ждает это. На вопрос прокурора в начале заседания, когда она была очень смущена, она даже отвечала, что ее никогда не вызывали к судебному следователю, тогда как через несколько времени подробно объяснила, когда давала показание и как давала его. Говорят, что перед вами, перед торжественным судом вашим, она должна была более смутиться, чем у судебного следователя; носам поверенный гражданского истца напоминает вам, что она теперь освобождена от обвинения, а тогда она могла ожидать привлечения к делу и потом действительно была привлечена к нему в качестве обвиняемой. Затем был ли для Беляевой внешний повод к испугу? Полагаю, что был. Поверенный гражданского истца передал слова Беляевой таким образом, будто бы беспрестанные звонки расстраивали ее нервы; но это перетолкование слов ее не заставит вас забыть истинного их смысла. Дело в том, что над домом Беляевой висела туча, заметная для нее самой. Было замечено, что агенты сыскной полиции слишком искусны, чтоб прямо идти в дом, звонить и открыто наводить свои справки. Но есть различные

приемы действий, соответствующие разным обстоятельствам. Пока сведения собирались, нужно было действовать осторожно, но когда дело вступило в новый период, когда Караганов был привезен в Петербург и дал свое показание, тогда можно было действовать решительнее, чтоб повлиять на впечатлительную личность. Я не считал бы себя вправе говорить о таких догадках, если бы неожиданно явившееся показание свидетеля Петрова, вызванного обвинительной властью и отвечавшего на ее вопросы, а не на вопросы защиты. Хотя Петров и не признал, что Ижболдин подкупал его, но здесь, на суде, он передал такие обстоятельства, которые легко могут дать повод предположить, что, может быть, он в пьяном виде рассказывал, что его подкупили. Этот рассказ мог дойти до Беляевой, она могла подумать, что окружена опасностями, что за ней следят, что вся прислуга готова изменить ей, и, конечно, могла испугаться. Прежде чем пойду далее, я обращаю ваше внимание на одно обстоятельство, которое в моих глазах имеет весьма важное значение и как нельзя более содействует объяснению

неопределенности и противоречий, замечаемых в показаниях Беляевой. Источник их заключается в событиях 1865 и 1866 годов, о которых так много говорил прокурор. В это время она поссорилась с Мясниковыми. Поводом к ссоре были два дела: споры по условию 22 декабря 1858 г. и спор по опеке Шишкина. В это время она подает в Управу благочиния прошение, в котором отзывается о Мясниковых весьма дурно. Отсюда враждебное расположение, которое поддерживается поверенным Беляевой Чевакинским. Он везде говорит, что сомневается в подлинности завещания; он ограждает безопасность своей доверительницы ранее, чем кто-нибудь угрожает этой безопасности; он готов взять расписку от Ижболдина, что тот ее преследовать не будет; он хочет заключить условие с Ижболдиным и быть двадцатым или тридцатым поверенным Ижболдина по этому делу. После такого эпизода понятно, что Беляева на следствии могла быть поставлена в не совсем ловкое положение. Она сожалела о том, что увлеклась враждебным расположением к Мясниковым, и этим можно объяснить некоторую неопреде-

ленность ее ответов. Но еще важнее другое объяснение, как нельзя более простое, вытекающее из самого положения дела. Беляева спрошена в первый раз через 10 лет после составления завещания; затем, почти через 14 лет явилась свидетельницей на суде; она женщина далеко не молодая. О чем же ее спрашивают? О таких вещах, которые большая часть из нас, людей еще не старых, забывает весьма легко. Представьте себе, что вам передают какую-нибудь бумагу и просят ее спрятать; проходит несколько месяцев, и вы ее возвращаете; потом через несколько лет вас спрашивают, в каком помещении вашей квартиры вы ее хранили? Я думаю, что в девяти случаях из десяти никто не будет в состоянии дать положительный ответ на этот вопрос, за исключением разве лиц, которые заранее приготовились дать ответ на всякий вопрос, которые, сознавая себя виновными, приняли заранее меры, чтоб не говорить ни одного слова, которое могло бы повредить им, и не умалчивать о том, что может послужить в их пользу. Следовательно, когда Беляеву спрашивают, куда вы положили завещание,

неужели вы будете удивляться, что она отвечает: «не помню»? Неужели вы заподозрите из-за этого правдивость ее ответов? Затем ее спрашивают: прочли ли вы завещание? Раз она говорит, что только посмотрела его, раз – что не дочитала, раз – что пробежала начало и конец. Неужели к этому можно придирааться? Неужели можно требовать, чтоб Беляева через 14 лет помнила все подробности тяжелой для нее минуты, когда она узнала, как близок конец любимого ею мужа? Будь она участницей в преступлении, будь завещание фальшивое, она бы нашлась, дала бы определенный ответ, и потому неопределенность показания ни в каком случае против нее обращена быть не может. Что она показала на втором предварительном следствии? Есть ли тут такое громадное разноречие, та открытая дверь, о которой говорил поверенный гражданского истца? Она сказала: «Да, я передала завещание Мясникову, но то ли самое, которое он привез назад, не знаю». Нельзя же предполагать, что завещание в ее пользу было обращено в другое завещание в ее пользу. Если подложно то завещание, которое ей при-

вез Мясников, подложно и то, которое она передала Мясникову, и никакая открытая в этом смысле дверь ей не поможет. Затем вас спрашивали, как могла Беляева обратить внимание не на то, что ей оставлено, а на подписи свидетелей? Но разве она сказала, что обратила внимание на подписи? Она сказала только, что прочла их. Когда человек убит горем, он обращает внимание на то, что первое попадает на глаза, а не на то, что для него важнее. Если бы она подготавливалась к показанию заранее, то не сказала бы, что Сицилийский и Отто подписались на завещании одним только своим именем. Ведь завещание было у ней в руках в течение 10 лет; неужели она не могла изучить его достаточно, чтобы помнить, как оно было подписано, и не отвечать разноречиво в вашем присутствии. Вся совокупность ответов Беляевой показывает, что она отвечала неопределенно под влиянием весьма понятного смущения. Нам говорят, что она давала раздражительным тоном ответ «да», «нет». Но можно ли оставаться хладнокровным, когда лицо, не уполномоченное к тому законом, прежде на-

чала допроса просит о записке в протоколе ее показаний на случай возбуждения вопроса о лжесвидетельстве? Если бы это сделал прокурор – и тогда Беляева не могла бы остаться к этому равнодушной; но если это делает лицо, имеющее только гражданский интерес в деле, то является не только смутное состояние беспокойства, но и весьма понятное раздражение, и если это раздражение слышалось в ответах Беляевой поверенному гражданского истца, то это совершенно естественно. Затем прокурор опять задается целым рядом вопросов: отчего не было того, отчего не было другого, отчего то или другое было сделано так или иначе? Посмотрим, могут ли нас привести к чему-нибудь подобные вопросы.

Прокурор говорит: странное дело, зачем Беляев передал завещание на сохранение жене, зачем не сделал этого раньше, зачем не внес завещания в какое-нибудь присутственное место, не передал его для хранения какому-нибудь должностному или частному лицу? Но опять, повторяю, можно ли требовать таким образом отчета от человека, зачем он поступил так, а не иначе? Каждый человек

может поступать различно, хуже или лучше, осторожнее или неосторожнее. Если он избирает средство, которое кажется нам менее целесообразным, неужели из этого можно вывести, что он вовсе того или другого не сделал? Беляев мог раньше не передавать завещания жене, потому что считал возможным его изменить и думал, когда соберется с силами, написать другое завещание; затем увидев, что здоровье его все больше и больше расстраивается, он мог решиться оставить завещание как оно есть и передает его жене. Что же тут удивительного? Бездна завещаний пропадает, может быть, от непринятия завещателями предосторожностей, но как бы то ни было, завещания далеко не всегда вносятся для хранения в присутственное место; притом этот обряд особенно полезен только тогда, когда исполнен лично завещателем, а в последние недели перед смертью Беляев, как известно, не выезжал.

Беляев передал завещание жене потому, что ему хотелось, чтобы во избежание забот оно заблаговременно было в руках ее. Он не говорит ей, что это за бумага. Но ведь переда-

ча какой-нибудь бумаги в торжественную минуту жизни достаточно, чтобы обратить на нее внимание получающего. Еще спрашивают: зачем он не сказал жене, что именно оставил ей? Но к чему было такое перечисление? Естественно ли ожидать такого разговора между мужем и женой, которые друг друга любят, если притом не имеют детей и жена сама по себе достаточно обеспечена. Понятно, что человек нежный, каким был Беляев, каким он является в своих письмах и был выставлен прокурором, понятно, что такой человек избегает подобного разговора. Прокурор идет далее, он говорит: почему Беляева не спросила мужа, сколько и что он ей оставил? Такой вопрос совершенно немыслим при той обстановке, которая господствовала в семье Беляевых, тем более что для Беляевой вопрос, сколько оставил ей муж, не был вопросом жизни или смерти: она женщина не бедная, имела свои винокуренные заводы и прекрасные дома и знала, что после смерти мужа останется во всяком случае в хорошем материальном положении. Вот все эти соображения и несомненное горе Беляевой, в котором

только поверенному гражданского истца угодно было сомневаться, показывают ясно: почему и в первое время после смерти Беляева она не торопилась раскрыть завещание и не тотчас приняла меры к его засвидетельствованию. Говорят, что она держала его 40 дней в безгласности. Нет, она так показала, но это одна из неточностей, которые составляют главный признак искренности. Она представила завещание к засвидетельствованию на 23-й день. Беляев умер 24 сентября, а завещание внесено в Палату 16 октября. Говорят, зачем она не успокоила несчастную заболевшую Ремянникову, не сказала тотчас, что ей оставлено 4000 рублей? Но что такое 4000 рублей для женщины старой, одинокой, которая привыкла к хорошей материальной обстановке? Для нее гораздо важнее было знать, оставит ли ее свояченица у себя на прежнем положении. Может быть, она сначала в этом сомневалась и просила помощи Мясникова? Но что показывала здесь на суде Беляева? Она показала, что успокоила Ремянникову, обещала ей не оставлять ее. Затем, уж безразлично когда, она сказала ей, что именно ей завеща-

но. Следовательно, предположение, что болезнь Ремянниковой зависела от неопределенности ее положения, совершенно не выдерживает критики. Затем прокурор говорит о негодовании Шмелева, который считал себя вправе думать, что ему что-нибудь оставлено, и удивлялся, как же этого в завещании нет. Но где доказательства, что о негодовании его было известно Беляевой? Притом о негодовании Шмелева нам известно из источника очень подозрительного. Одним словом, как ни посмотреть на дело, совершенно понятно, что Беляева могла первые дни после смерти мужа не говорить о завещании, не представлять его к явке. Но говорят, есть доверенность, которой Беляева еще в сентябре уполномочила Мясниковых вести все свои дела. Но, во-первых, в этой доверенности нет ничего о завещании, и, во-вторых, она написана неизвестно кем, неизвестно по чьему приказанию; может быть, по распоряжению Мясникова или другого лица, может быть, управляющего конторой. Такая доверенность на всякий случай была приготовлена, но дело в том, что она никогда не была выдаваема, следова-

тельно, вывод, что в конце сентября Беляева хотела распоряжаться делами и дать ход завещанию, ни на чем не основан. Во всяком случае эта доверенность не говорит ничего ни в пользу, ни против подлинности завещания. Наконец, остается еще одно, кажется, последнее соображение, касающееся завещания. Говорят, как можно допустить, чтобы Беляев, любивший свою жену, оставил завещание, которое могло только поставить ее в затруднение? Можно ли допустить, что Беляев, зная, что у него есть деньги, оставил жене достояние, обремененное долгами, чуть ли не выше стоимости его? Этот вопрос более относится к последнему вопросу – о величине состояния Беляева; но допустим, что мы уже доказали, что состояние было небольшое, обремененное долгами. Не забудьте, что Беляев составил завещание 10 мая, в то время, когда не знал, какой оборот примут его дела, и мог думать, что в момент его смерти положение их будет весьма благоприятно. Он мог надеяться, что проживет еще долго, так как его болезнь принадлежала к числу тех, которые могут и быстро окончиться, и продолжаться очень

долго. Наконец, Беляева и на самом деле получила по условию 22 декабря независимо от всех ее собственных имений 120 000 рублей капитала, то есть разницу между сохранной распиской и ценностью уступленного Мясниковым имения Беляева. Сверх того Беляева получила в свою пользу такое имущество ее мужа, которое не было уступлено Мясниковым по условию 22 декабря. На это есть одно указание: как видно из сведений, доставленных Олонецкой Казенной Палатой, Беляева после смерти мужа и скончания расчетов, по олонцкому откупу, получила половину оставшейся суммы за вино, именно 9000 рублей, а другая половина пошла Красильникову. Может быть, она получила и другие суммы; ведь по условию 22 декабря к Мясниковым перешли только одни предприятия Беляева, а у него, как видно из счета 10 сентября 1857 г., были должники, которые, может быть, заплатили Беляевой. Итак, составление такого завещания с любовью Беляева к жене, не подлежащей никакому сомнению, нисколько в противоречии не находится.

Прежде чем продолжать речь, я просил бы

на основании состоявшегося вчера определения суда предъявить счета присяжным заседателям. *(Счета предъявляются).*

Обращаюсь теперь к самому существенному вопросу: не имел ли кто-нибудь, и кто именно, интерес составить подложное завещание? Этот вопрос находится в тесной связи с вопросом о состоянии Беляева. Я должен просить извинения, что буду утруждать вас цифрами, но это необходимо для разъяснения дела. В этом отношении существует некоторое разногласие между моими противниками. Прокурор и отчасти один из поверенных гражданского истца придают значение этому вопросу; они понимают, что в таком деле, как настоящее, нельзя обойти вопроса, был ли какой-нибудь интерес составить подложное завещание, что нельзя относиться свысока к вопросу, как велико было состояние Беляева. Другой поверенный гражданского истца настойчиво указывает, что этот вопрос не имеет значения, даже возражал против единственного средства, которое мы имеем, чтоб познакомить вас с этой стороной дела, именно против предъявления счетов. Полагаю, что все

заранее поняли, как важен этот вопрос в настоящем деле. Прежде всего я должен заявить, что вполне согласен с той характеристикой Беляева, которую сделал прокурор. Он отнесся к личности Беляева с уважением, и, мне кажется, иначе отнестись к ней нельзя. Беляев действительно принадлежал к числу тех усердных и ревностных слуг, которые интересы своих хозяев ставят выше своих собственных. После этой характеристики, мне кажется, я могу только вкратце указать на тот прискорбный вопрос, который был сделан одному из свидетелей поверенным гражданско-го истца. Он спросил вчера одного из свидетелей: как вы полагаете, если бы Беляев захотел употребить во зло доверие И. Ф. Мясникова, то мог ли он обогатиться? Я полагаю, что этот вопрос не может возникнуть в настоящем деле, потому что как обвинительная власть, так и защита вполне признают, что о неправильном происхождении состояния Беляева не может быть речи. Затем нам надобно условиться насчет того, что следует понимать под именем больших капиталистов и малых и в какой степени следует при этом руководство-

ваться показаниями свидетелей. Прокурор по этому поводу высказал теорию, с которой едва ли можно согласиться. Он полагает, что после 1858 года понятия общества о большом и малом капиталах изменились сообразно с изменившимся распределением собственности в разных руках. По мнению прокурора, при существовании откупов, при возможности быстрого, почти внезапного обогащения понятие о больших капиталах 14 лет тому назад было другое, чем теперь. Тогда большим капиталистом считался тот, который, подобно Воронину, Кокореву, Бенардаки – откупным царькам, располагал громадными средствами; маленьким же тот, который, подобно Беляеву, как понимает обвинительная власть, обладал капиталом в 400 000–600 000 рублей. Замечу мимоходом, что здесь в первый раз настоящее дело является низведенным хотя до чего-нибудь подходящего к его настоящему значению. Не говоря уже о слухах и о заявлениях гражданских истцов, оценивших состояние Беляева в несколько миллионов, даже запрещение по настоящему делу при предварительном следствии было наложено в сумме

1 300 000 рублей. Теперь уже капитал Беляева определяют совершенно иначе, но все-таки остается еще весьма многое сделать, чтобы восстановить истину. Итак, я возвращаюсь к вопросу о состоянии Беляева и говорю, что если теперь не существует откупа, то существуют другие, незнакомые прежде средства такого же быстрого, внезапного обогащения, не всегда соответствующего труду и силам, для того употребленным; если прежде были откупа, теперь есть концессии; если прежде был торг вином, в настоящее время есть постройка железных дорог; если тогда слыли за больших капиталистов Воронин или Коншин, то в настоящее время такими же капиталистами слынут Поляков и многие другие, которых незачем называть. Относительное значение понятий о большом и малом капитале не изменилось. Затем спрашивается, в какой степени мы можем руководствоваться при определении состояния Беляева показаниями свидетелей? Это, по моему мнению, зависит от того, что они показывают. Некоторые из них говорят, что считали Беляева за человека богатого, считали его капитал в 300 000, 400 000,

даже в 500 000 рублей. На этом они останав-
ливаются, не дают точных сведений о его де-
лах и предприятиях. Таким показаниям мож-
но давать веру относительно их добросовест-
ности, но серьезных выводов из них делать
нельзя. Гораздо большее значение имеют те
свидетели, которые определяют с точностью
дела умершего и знают даже, на чем он имел
барыш, на чем убыток. К первой категории
свидетелей принадлежат Гротен, Молво, Пе-
розио; ко второй – Бенардаки и Ненюков. За-
тем я расхожусь с обвинительной властью по
одному предмету: обвинительная власть на-
стаивает на различии между официальными
документами и неофициальными бумагами,
которые имеются в настоящем деле. Обвини-
тельная власть говорит, что нужно руковод-
ствоваться отношением обер-прокурора 1 Де-
партамент Сената, сведениями, полученны-
ми из Сената, из Казенных Палат и т. п., а что
счета Беляева, его расписки, домовая расход-
ная тетрадь не имеют существенного значе-
ния. В этом отношении я стою на точке зре-
ния совершенно противоположной. Предста-
вим себе, например, что, руководствуясь од-

ними официальными сведениями, мы определили бы участие Беляева в херсонском откупе в 25-ти паях. После некоторых данных, представленных защитой вчера, обвинительная власть признала херсонский откуп почти не принадлежащим Беляеву, то есть принадлежащим ему только в пяти паях, которыми он почти не пользовался. Руководствуясь одними официальными документами, мы пришли бы, следовательно, к фальшивому заключению о состоянии Беляева. Поэтому, чтобы составить правильное заключение, нет другого средства, как обратиться к пренебрегаемым обвинительной властью, а по моему мнению, очень важным, домашним распискам и счетам. Притом так ли они не важны, как кажется с первого взгляда? Если известное торговое лицо ведет книги по строгим правилам бухгалтерии, тогда частные его записи особого значения не имеют. Но разве Беляев вел торговые книги? Разве есть другие основания доказывать величину его состояния, основания более точные, чем, например, отчет Беляева пред Мясниковыми? Правда, свидетель Красильников перечислял подроб-

но все книги Беляева, но ведь Красильников один из устраненных свидетелей. Что касается Китаева, то, несмотря на пристрастие его в ту же самую сторону, как Красильников, он на предварительном следствии показал, что в конторе книг не велось. Лучшим доказательством, что их не было, служит исходящая тетрадь, в которой записывается расписка в 272 000 рублей. Итак, я думаю, что записки и счета Беляева имеют важное значение, потому что все писаны собственноручно; я не предполагаю, чтобы могло быть оспорено значение этого доказательства.

Предпослав эти предварительные соображения, я перейду к рассмотрению вопроса о состоянии Беляева. Оно заключалось главным образом в откупах. По поводу откупов много было говорено вчера мною самим и противной стороной; поэтому я ограничусь немногими замечаниями. Обвинительная власть продолжает утверждать, что вологодский откуп представлял большую ценность, что если 20 000 рублей дано за последних четыре месяца, значит, он приносил 60000 рублей в год. Обвинительная власть, кажется, не

так поняла вчерашнее мое заявление. Я не утверждал, чтобы откупщик в последние четыре месяца пускал вино в продажу по возвышенной цене; я говорил только, что к концу срока содержания откупа старый откупщик передавал новому все свои заведения, имущество и запасы, и вот почему в конце срока содержания откуп мог быть уступлен за сравнительно высокую цифру. Припомните объяснение Красильникова о передаче олонецких откупов в конце 1858 года, в этом ему вполне можно верить, потому что он показывал не в пользу подсудимых. Красильников показал, что в конце 1858 года он был озабочен получением доверенности от Беляевой и Мясниковых, именно для окончания этих важных в откупном деле расчетов. Следовательно, 20 000 рублей, заплаченные за четыре последних месяца, не могут служить мерилем для действительной стоимости откупа. Из 10000 рублей, полученных в задаток за Устюг, 4000 пошли к А. Мясникову; столько же, пропорционально $\frac{2}{5}$, должно было, вероятно, достаться Ивану Константиновичу, так что Беляев и здесь является имеющим на самом де-

ле 1/15 своего номинального участия в откупе. Я укажу еще, что по его расходной тетради и по счетам значатся выданными Мясниковым по вологодским откупам 53 000 рублей. Что касается херсонского откупа, то мне кажется, что указанные мною вчера документы и соображения позволяют исключить из счета состояния Беляева этот откуп по двум причинам: во-первых, Беляев взял этот откуп по поручению Мясниковых, и все деньги, которые получал с него, передавал им почти без остатка; во-вторых, в августе 1858 года херсонский откуп был уже совсем передан, и расчеты по нему почти окончены. Об олонецких откупах есть сведения в счете Беляева от сентября 1858 года, где сказано, что им вложен в них капитал в 29 000 рублей. Красильников показал, что они стоили в конце 1858 года до 70 000 рублей. Я готов принять и эту цифру. Затем говорили о доходах, которые Беляев получал от откупного дела; но есть имущества с доходом постоянным, есть другие – с временным доходом; откупа принадлежат к последней категории, и доходы с них должны были для Беляева совершенно прекратиться в 1858

году, не говоря уже о том, что откуп не всегда давал доход, а часто убыток.

Из всего сказанного видно, что если даже принять ценность олонекских откупов, в 70 000 рублей, если допустить негласное участие Беляева в откупе земли Войска Донского, то все-таки вся ценность его участия в откупных делах к концу 1858 года составляла лишь с небольшим 100 000 рублей. Затем, мы знаем, что залоги, предоставленные по откупам, принадлежали не одному Беляеву. По вологодским и херсонским откупам часть залогов внесена была на счет Мясниковых, а по Олонецкой губернии залог доверен Беляеву его женой. Что касается до откупов на срок 1859–1863 годы, то общая цифра представленных Беляевым залогов составляла сначала 109 000 рублей, а потом понизилась до 71 000 рублей, в число которых входил и дом Беляевой. Но что же дает право причислить эту сумму к активному капиталу Беляева? Сплошь и рядом в залог по откупам представлялись чужие ценности. Вы слышали вчера, что билеты Комиссии Погашения Долгов на сумму 140 000 рублей, которые явились в чис-

ле залогов Беляева и которые Беляева разыскивала во время ссоры с Мясниковыми, на самом деле были возвращены Беляевым А. Мясникову; что когда ставропольский откуп был передан от Беляева Мясникову, то залогов, представленные Беляевым, но принадлежавшие Валохову и Андрееву, на сумму почти до 300 000 рублей, были возвращены двум последним; что в списке залогов Беляева значится и четыре билета Коммерческого Банка на сумму 700 000 рублей, которые принадлежали одной из девиц Мясниковых, и билет Пухова, принадлежавший вдове его и представленный Беляевым в залог по вологодским откупам. Вы знаете, с другой стороны, что после смерти И. Ф. Мясникова осталось до полутора миллионов в билетах разных кредитных учреждений. Не ясно ли, что при определении состояния Беляева залогов, представляемые им, в соображение принимаемы быть не могут. Затем я перехожу к рыбным ловлям. Способ исчисления их стоимости превосходит всякое вероятие.

Говорят, что Мясниковы не имели формального права, на рыбные ловли, составляв-

шие собственность Беляева. Это утверждают на том основании, что хотя Беляевым было подано отношение о том, что 2/3 рыбных ловлей он уступил Мясниковым, но контракта заключено не было. Но ведь в деле есть копия с постановления Астраханской комиссии о рыбных ловлях, из которого видно, что Комиссия по выслушании доношения Беляева признала Мясниковых участниками в 2/3 предприятия. В условии 22 декабря сказано, что рыбные промыслы передаются Мясниковым в 2/3, значит, остальные две трети им уже принадлежали. Если бы Беляев в момент смерти был собственником рыбных промыслов, то они все и были бы переданы Мясниковым по условию 22 декабря.

Если стать на точку зрения прокурора, то каким же путем перешли в собственность Мясниковых остальные две трети промыслов? А что они владели всей совокупностью промыслов – это несомненно. Затем прокурор совершает другие операций над рыбными ловлями: он ценит их не по тому, что они стоили в момент смерти Беляева, но по их стоимости несколько лет спустя. Неправильность

этого приема я могу объяснить следующим примером: представьте себе, что я строю фундамент дома, затем умираю; мои наследники возводят на этом фундаменте 4-х этажный дом. Неужели можно утверждать, что в момент моей смерти эта постройка имела уже ту ценность, которую приобрела по совершенном окончании ее. Вот что действительно стоили рыбные ловли в момент смерти Беляева в 1869 году: во-первых, отступного было заплачено Беляевым и обоими Мясниковыми 124 000 рублей; следовательно, на долю Беляева приходилось немного более 40 000 рублей; затем на рыбные ловли затрачено Беляевым 16 166 рублей в первый раз и 25 000 рублей во второй раз, всего 41 166 рублей. Присоединив к этому $\frac{1}{3}$ залогов, то есть 8000 рублей, мы увидим, что Беляевым было положено в долю с небольшим 90 000 рублей, что составляло ценность $\frac{1}{3}$, принадлежавшей Беляеву, – ценность, определенную на основании обыкновенных приемов, употребляемых при разрешении в делах гражданских и в практической жизни вопросов о стоимости имущества.

Но прокурор в настоящее время признает

возможным отступить от всех принятых и возможных способов оценки; он принимает в основание стоимость ловлей в 1861 году, когда Мясниковыми был вложен в них большой капитал (в 1866 году – 297 000 рублей), следовательно, когда они стараниями Мясниковых приобрели значительно большую ценность. Но если даже принимать в соображение их стоимость в 1861 году, то и тогда ничем не доказано предположение, что они стоили 899 000 рублей. Говорят, что ловли были переданы Бутовичу Трощинским за 1 030 000 рублей. Но ведь эта передача не состоялась. Одновременно с передачей рыбных промыслов Мясниковы не внесли следовавшей с них арендной платы, рыбные ловли были взяты в казенное управление, и наложено было запрещение на имение Мясниковых в 624 000 рублей, то есть соответственно количеству арендной платы, причитавшейся к получению до окончания срока контракта, а не соответственно стоимости промыслов.

Запрещение это вследствие жалобы Мясниковых было снято, но рыбные промыслы оставались несколько времени как бы без хо-

зяина, неизвестно, кто владел ими: Мясниковы перестали ими заведовать, Трощинский не вступал во владение; наконец, в 1864 году является поверенный Трощинского и принимает их от Мясниковых, причем все принятое имущество оценено менее чем в 400 000 рублей. Свидетельствует ли все это означительной ценности рыбных промыслов? Рискуют ли потерять имущество, стоящее 900 000 рублей из-за невзноса арендной платы в 24 000 рублей. Оставляют ли такое имущество в чужом владении в продолжение почти трех лет? Очевидно, что рыбные ловли даже в 1861 и 1864 годах, после всех затрат, сделанных Мясниковыми, не имели особенно большой ценности. Что же они могли стоить в 1855 году в самом начале дела? Следовательно, кажется, можно с такой же математической точностью, с какой я определил ценность откупов в 75-100 тыс., определить ценность рыбных ловлей в 96-95 тыс. Затем, что еще остается? Откинем разные фантастические части состояния Беляева.

Нам говорили об его участии в самых разнообразных предприятиях: в покупке завода

Берда, в учреждении газового общества и т. д., но мы хорошо знаем, что в момент его смерти ни одно из этих предприятий не было в ходу. Соглашение с Бердом не состоялось еще при жизни Беляева, завод герцога Лейхтенбергского перешел к другому лицу, Газовое общество было учреждено после смерти Беляева. По этому предприятию Беляев потратил 4000 рублей, но расходная тетрадь показывает, что он выдал их Молво за счет Мясниковых. Во всех предприятиях, Беляев является компаньоном Мясниковых, человеком, доставляющим опытность и труд, а Мясниковы — людьми, дающими капитал. Не знаю, как может доказать поверенный гражданского истца свое мнение о принадлежности Беляеву долгов И. Ф. Мясникова. Для меня, как и для обвинительной власти, совершенно ясно, что эти долги составляли собственность Мясниковых.

Вы помните заявление свидетеля Гротена, что он покупал векселя по поручению Мясниковых, получал на это деньги из их капитала и полученные из конкурса деньги передавал им. Но разве с Гротеном действовали другие

лица, которые скупали претензии на счет Мясниковых и которые значатся вместе с Гротеном в собственноручных записках Беляева, представленных мною к делу? Наконец, в отчете, представленном Мясниковым от Беляева, показано в их активе претензий на И. Ф. Мясникова на сумму 96 000 рублей. Эти сбережения, кажется, достаточно доказывают, что все долговые претензии на И. Ф. Мясникова были приобретены Беляевым и другими лицами, по его поручению, за счет Мясниковых. Прибавлю еще одно соображение. В той части условия 22 декабря 1858 г., в которой перечислены все части имения, перешедшего от Беляевой к Мясниковым, претензии на И. Ф. Мясникова вовсе не упомянуты, конечно, потому, что они не входили в состав состояния Беляева. Из более реальных частей его состояния упомяну прежде всего о золотопромывательной машине. Этой машиной он действительно владел, но едва ли можно сказать, что она что-нибудь стоила; на это нет никаких указаний. Есть заметка Беляевой, что машина стоит 20 000 рублей, но, вероятно, тут принята в соображение цифра расхо-

дов, сделанных на машину, которая, как видно из документов, действительно составляла около 20 000 рублей. Беляева могла думать, что ценность машины определяется количеством затрат, на нее сделанных. Но предприятие могло быть удачным или неудачным. Мы не знаем даже, была ли применена к делу эта машина. Затем у Беляева была лесная торговля, которая, как мы знаем из показаний свидетелей, принесла ему большой убыток. Размеры ее в 1859 году были весьма невелики. Те, никем не подписанные и неизвестно, кем писанные, заметки, которые вчера были вам прочитаны, сюда не относятся, а контракты, имеющиеся в деле Гражданской Палаты, показывают, что ценность дач, купленных Беляевым на сруб, только немногим превышала 10 000 рублей. Из счета капиталов Беляева на 17 сентября 1857 г. мы видим, что в лесное дело им было вложено 14 000 рублей. Затем можно прямо перейти к винокуренным заводам. В них, как видно из счета на 17 сентября, вложен Беляевым капитал в 50 000 рублей. Я должен предупредить вас, что винокуренные заводы составляли собственность не Беляева,

а Беляевой; может быть, заводы были куплены на его деньги, может быть, пущены в оборот с его помощью, но юридически они во всяком случае принадлежали одной Беляевой, которая могла распорядиться ими и без завещания мужа. Я должен, однако, остановиться на оценке этих заводов. Обвинительная власть ценит их в 200 000 рублей, основываясь на сведениях, относящихся к лету 1858 года. При этом принимаются в соображение и залоговые права, которые я прошу устранить, потому что очень часто залоговые права не бывают собственностью того, кто их представляет. Мы даже не знаем, состояли ли в данном случае залоговые права из денег или имений. Что касается до оборотного капитала, то количество его беспрестанно изменялось, и мы знаем из достоверных источников, что в конце 1858 года положение заводов было бедственное; управляющий ими должен был прибегать к займам для продолжения винокурения. Есть одно письмо, почти отчаянное, что если Беляева или Мясниковы не пришлют денег, то винокурение должно будет остановиться. Ценность винокуренного завода зависит от хода подрядов и

поставок, от цен на хлеб, от количества оборотного капитала. Такого капитала у Беляевой не было, и вот почему цена (100 000 рублей), за которую она передавала заводы Мясниковым, не может быть признана несоразмерно низкой. Я забыл еще сказать о мебельном магазине. Насчет его стоимости спорить не буду. Я готов оценить его в 30 000 рублей, потому что мы имеем сведения, близко подходящие к этой цифре. Итак, актив состояния Беляева в момент его смерти простирался от 200 до 300 000 рублей. Теперь обратите внимание на пассив. Здесь мы встречаемся со счетами или отчетами на 1 сентября 1857 г. и 14 мая 1858 г. Из отчета на 1 сентября видно, что Беляев должен был к этому числу Мясниковым 263 000 рублей. Этим дело, однако, не исчерпывается, потому что в том же отчете показана им приготовленная для раздела сумма 43700 рублей и братьям сделок (то есть отступного) 22 500 рублей. Что эта последняя сумма действительно следовала братьям Мясниковым, доказывается тем, что потом, при расчете с Александром и Иваном Константиновичами, Беляев делит эту сумму пополам и

ставит каждому из братьев на приход 11250 рублей. Отчет на 1 сентября подтверждается собственноручно запиской Беляева от 16 сентября, по которой сумма долгов его к этому числу составляет около 335 000 рублей. Обвинительная власть допускает, что Беляев к 1 сентября 1857 г. был должен Мясниковым 263 000 рублей, соглашается даже положить эту сумму в основу своего расчета на май месяц 1858 года и выводит, что если Мясниковы и не были должны Беляеву к 14 мая тех 272 000 рублей, которые показаны в отчете 14 мая, то во всяком случае долг Беляева Мясниковым не превышал 90 000 рублей. Затем обвинительная власть совершает ряд произвольных выкладок, из которых оказывается, что в момент смерти Беляева он должен был Мясниковым только самую незначительную сумму – несколько тысяч рублей. При этом нас поражает прежде всего следующая странность. 14 мая Беляев представляет счет, по которому следует ему с Мясниковых 22 500 рублей. Исправив этот счет по той системе, которую допускает обвинительная власть, оказывается, что Беляеву следовало заплатить Мяс-

никовым 91 378 рублей; вдруг через семь дней выдается Беляевым расписка на 272 000 рублей, по имени сохранная, но в сущности долговая. Как объяснить это? Тут, очевидно, простая ошибка. Весьма может быть, что обвинительная власть не могла заметить эту ошибку; она не имела к тому тех средств, которые мы имеем, не слышала объяснений, которые даны нам нашими доверителями в том, что когда, в августе 1857 года Иван Мясников возразил против отчета Беляева, то это возражение не осталось без последствий, возникли несогласия между Беляевым и Мясниковым, и когда 17 мая Беляев представил новый отчет, который оказался неверным, то Мясниковым была сделана поверка, последствием которой была выдана сохранная расписка в 272 000 рублей, то есть признание со стороны Беляева, что он должен Мясниковым эту сумму. Нам говорят, что когда Иван Мясников уезжал в Астрахань, то он хотел успокоиться. Да, но в чем? Он хотел документа на тот капитал, который оставался в руках Беляева. Еще с 1847 года постоянно оставалась значительная цифра и за Беляевым, когда он

занимался делами И. Ф. Мясникова. Тогда это не возбуждало недоразумений; но когда они начались, когда Беляев, ослабленный болезнями и годами, сделался менее аккуратным и точным в своих отчетах, тогда явилась потребность обеспечить чем-нибудь получение недоданной суммы. Ошибочность отчетов на 1 сентября 1857 г. и на 14 мая 1858 г. доказывается счетами, имеющимися в деле и вам предъявленными. Таким образом, польза от золотых приисков определена в отчете на 1 сентября в 21 000 рублей, а из другого счета и сделанной на нем собственноручной надписи Беляева видно, что сверх этой суммы было получено и подлежало представлению от Беляева еще слишком 125 000 рублей. Есть другой подробный счет прибылей, полученных по делам Мясниковых. Я не буду приводить всех поправок, которые сделаны в нем рукой Беляева. Из этого отчета видно, что сумма прихода вместо 2 273 775 рублей, показанной в отчете на 1 сентября, составляет (включая и приведенную выше разницу по золотым приискам) 2 417 743 рубля, то есть на 143 963 рубля более. Затем есть еще ошибка в отчете 1 сентября,

которая доказывается совершенно ясно тем, что в отчете показаны переданными А. К. Мясникову 233 119 рублей, а из подробного расчета с А. К. Мясниковым, исправленного рукой Беляева, видно, что на самом деле получено А. К. Мясниковым только 189 000 рублей. Понятное дело, что если прежде показано было, что получено А. К. Мясниковым 233 000 рублей, а на самом деле получено им только 189000 рублей, то разница должна быть поставлена на актив Мясникова и пассив Беляева. Такая же ошибка допущена во вред И. К. Мясникова на сумму 11 250 рублей. Затем, господа присяжные заседатели, есть еще одна неправильность, которую также легко исправить, а именно: в отчете о капитале на 1 сентября показано остатком на золотых приисках 95 100 рублей, а в другом счете тоже на 1 сентября эта сумма определена только в 45 318 рублей. Разница между этими цифрами составляет 49 781 рубль. Если сложить все выведенные мною суммы и прибавить к ним доход, показанный в отчете 14 мая (105 808 рублей), то выйдет всего 618 281 рубль, а если вычесть из этой цифры 70162

рубля, внесенные Беляевым в опеку на счет Шишкина, и 278 061 рубль, израсходованный им по отчету на 14 мая, то выйдет около 270000 рублей, то есть сумма, весьма близкая к цифре сохранной расписки. Разница между этими двумя цифрами объясняется тем, что не все расходы, сделанные Беляевым, были признаны Мясниковыми при проверке отчетов. Итак, приведенные мною соображения и цифры вполне устраняют ту странность, которая не устранима при системе, принятой обвинением, и вполне объясняют происхождение расписки в 272 000 рублей. Беляев убедился, что сделал ошибку в счетах и, как человек добросовестный, загладил свою ошибку очень скоро, выдав Мясниковым сохранную расписку как раз на ту цифру, которую в ту минуту должен был им уплатить. Нам говорят, что она была уплачена впоследствии и возвращена Беляеву. Но как доказать это? Беляев, как признают и наши противники, был человек аккуратный; может ли быть, что, получив обратно расписку, он оставил ее в том же самом виде, ненадорванной, без надписи об уплате, в числе других бумаг? Столь же

невозможно, чтобы, уплатив деньги, он оставил расписку в руках Мясниковых. На чем же затем основано предположение о погашении сохранной расписки? Где основание предполагать, что Беляев рассчитался с Мясниковыми после 21 мая? Отступное по рыбным ловлям он уплатил по равным частям с Мясниковыми – это видно из расходной тетради. На каком основании Беляев передал Мясниковым ставропольский откуп – мы не знаем; есть повод думать, что он был передан без всякого условия, так как был взят Беляевым с самого начала для Мясниковых. В том счете, который был сделан Беляевой, отобран у нее и находится при деле, за Кавказ показана 30 000 рублей, следовательно, больше этой суммы Беляеву за передачу ставропольского откупа ни в каком случае не причиталось. Итак, я считаю вполне доказанным, что когда Беляев умер, положение его дел было таково: с одной стороны, предприятия, о которых я говорил, на сумму не свыше 300000 рублей; с другой – долг в 272000 рублей. Разница между активом и пассивом, близко подходящая к той сумме, за которую Мясниковы, не считая

сохранной расписки, приобрели от Беляевой по условию 22 декабря предприятия ее мужа. Может быть, нас спросят: каким образом у человека, который слыл капиталистом, могло оказаться в конце концов состояние, стоящее не более 20 000 рублей. Но, во-первых, мы имеем показание двух свидетелей, которые о Беляеве отзывались как о человеке, у которого был капитал небольшой, – свидетелей, весьма компетентных, Ненюкова и Бенардаки. Оба сказали, что в лучшее время у Беляева было состояние, – может быть, до 400 000 рублей, но он потерял в последнее время громадные, относительно, суммы на лесной торговле и других предприятиях. Есть еще другая причина, которая заставляет верить, что у Беляева не было большого состояния, лично ему принадлежавшего: в конце жизни он приобрел на имя жены дома, на отделку и отстройку которых он издержал, как видно из имеющихся в деле счетов, весьма значительные суммы: в одном из домов есть зала в два света и вообще дом отделан весьма роскошно. На имя жены были куплены также винокуренные заводы. Можно ли после того удивляться,

что у Беляева в конце жизни не оказалось больших денег. Наконец, Беляев обладал тем, что само по себе составляет капитал: он обладал духом предприимчивости, он не терял бодрости, несмотря на неудачи, и если терпел убыток в одном деле, тотчас же хватался за другое с помощью капитала Мясниковых и своей опытности в делах; он хотел предпринять, и, может быть, совершил бы весьма удачно громадные компанейские дела. Его состояние колебалось, как состояние всякого коммерческого человека, основанное на не слишком твердых и незыблемых основаниях. Вот мой взгляд на состояние Беляева, доказанный с гораздо большей точностью, чем предположение противной стороны. В какой степени вероятно, чтоб Мясниковы могли совершить подлог для приобретения такого состояния? Ведь для того, чтоб признать, что преступление совершилось, надо чтоб был достаточный к тому интерес. Этот интерес, когда речь идет о материальной выгоде, конечно, не один и тот же для человека бедного, необеспеченного, и для человека вполне обеспеченного, богатого. Александр Константино-

вич и Иван Константинович Мясниковы в 1858 году только что начинали жизнь молодыми людьми, при самых блестящих условиях: Александру было 26 лет, Ивану около 25 лет; Иван Мясников собирался жениться. У каждого из них по миллиону состояния. Припомните сведения Дворянской опеки, которые я приводил сегодня утром; припомните, что уже в 1857 году на долю каждого из братьев приходилось по 800 000 рублей. Затем умирает человек близкий к ним, с которым они связаны самыми разнообразными связями, у которого было 20, 30 тысяч состояния – и они совершают подложное завещание, как говорят мои противники, обдуманно, хладнокровно, а по моему мнению, если стать на точку зрения противной стороны, без соблюдения каких бы то ни было правил осторожности, – эта вещь слишком невероятная или, лучше сказать, невозможная. Обвинительная власть хорошо понимает, что нужно как-нибудь объяснить эту странность, и представляет вам следующее предположение; Мясниковы были связаны с Беляевым общностью интересов; у них были дела общие, так что, если

Беляев умер, не оставив завещания, то им было бы весьма трудно рассчитывать с наследниками, доказать, что им принадлежит известная доля в делах Беляева. Кроме того, время горячее, возникают новые предприятия, откупа доживают свой век; нужно воспользоваться обстоятельствами, нельзя этого сделать иначе, как присвоив себе состояние Беляева. Справедливо ли это? Представим себе, что Мясниковы не приобрели бы состояния Беляева: чтобы они через то потеряли? Во-первых, сам прокурор говорит, что Мясниковы перевезли к себе свои бумаги; следовательно, они имели все средства доказать, что им принадлежит известная доля состояния Беляева. Неужели, если б они явились в гражданский суд со счетами, собственноручной тетрадью Беляева, черновым условием, с расходной книжкой и свидетельскими показаниями Каншина и других лиц, они не могли бы добиться на суде признания своего права? В самом неблагоприятном случае, чего бы они лишились? 8-10 тысяч на вологодских откупах, да, может быть, чего-нибудь на херсонских, хотя последние, как мы знаем, еще при

жизни Беляева перешли в собственность к Каншину. Затем ставропольский откуп был в их руках. Земли Войска Донского – тоже; были Беляев в этих откупах негласным компаньоном – это все равно, потому что официально он в них участия не принимал. В рыбных ловлях Мясниковым принадлежали, правда, только две трети; но разве им трудно было бы приобрести остальную треть от законных наследников Беляева? Кто эти наследники? Та же Беляева, Ремянникова, одинокая и бездетная женщина, наконец, Мартьянова, бедная мещанка. С кем легче вести разговоры – с человеком, который сам обеспечен, который может советоваться с лучшими адвокатами и имеет все средства вести дело в судах и в старое время, или с бедной женщиной, приславшей в Петербург поверенного, который за две тысячи рублей уступает половину наследства? Конечно, с Мартьяновой легче было бы сойтись, чем с Беляевой, которая, как мы знаем, не сразу подписала условие 22 декабря, а после долгих переговоров, в которых участвовали Гротен и Богуславский. Затем является другое объяснение со стороны гражданского

истца: сохранная расписка, неформальная, которую Беляева признавала юридически недействительной, другими наследниками могла быть отвергнута, а Беляевой была принята. Но где доказательства, что сохранная расписка была недействительна? Беляева отвечала не так, как говорил поверенный гражданского истца; вы, конечно, поняли ее ответ иначе. Ее спрашивали: как вы признавали сохранную расписку для себя обязательной – юридически или нравственно? Она сказала: нравственно. Разве из этого следует, что она признавала ее юридически недействительной? Она вовсе не входила в рассмотрение этого вопроса и признавала расписку для себя обязательной потому, что она подписана ее покойным мужем. Наконец, положим, что расписка, как сохранная, была недействительна. В чем же заключается ее недействительность? Может быть, не обозначен был род денег, взятых на сохранение, или она была не вся написана Беляевым собственноручно? Но ведь это не лишало бы расписку силы долгового документа, и существование долга весьма легко могло быть доказано с помощью

счетов, вам известных. Ведь это доказано и теперь, по прошествии 14 лет. Неужели нельзя было сделать этого в 1858 году? Если б завещания не оказалось, приехала бы Мартьянова и стала бы делить с Беляевой и Ремянниковой наследство. Узнать, что Беляев был компаньоном Мясниковых в херсонских и вологодском откупах и т. д., им, конечно, было нетрудно, точно так же, как и одной Беляевой; следовательно, увоз Мясниковым бумаг не обезоруживал ни Беляеву, ни других наследников. Затем возникает еще вопрос. Беляева, по словам обвинительной власти и по словам гражданского истца, знала, что завещание подложно. Мысль о составлении фальшивого завещания на имя Беляевой, по предположению обвинительной власти, явилась в конце сентября или в начале октября, затем 16 октября оно представлено к утверждению, в конце октября или в начале ноября утверждено, а двадцать второго декабря 1858 года заключено условие между Беляевой и Мясниковыми, которому предшествовали довольно длинные переговоры, в ту минуту, когда, по предположению обвинительной власти, Мяс-

никовы совершили подлог. Какое ручательство они имели в том, что он им удастся, что они достигнут своей цели, что за риск, сопряженный с этим предприятием, они хотят что-нибудь получить? Какое они имели ручательство в том, что Беляева, получив завещание, передаст им все состояние своего мужа? Не только человек богатый, даже человек бедный, считающий большим для себя приобретением сумму в 200 000 рублей, и тот не поступил бы таким образом, и тот не рискнул бы совершить преступление, всеми плодами которого свободно и беспрепятственно может воспользоваться другое лицо. Это такое предположение, которого ни на минуту нельзя допустить. Сознывая его слабость, поверенный гражданского истца прибегает к самым рискованным догадкам. Он говорит, что Беляева проникнута идеею дворянской гордости до такой степени, что готова лучше отдать все миллионерам Мясниковым, чем какой-нибудь мещанке. Не думаю, чтобы Беляева была проникнута такими чувствами; припомните, что она не только вышла замуж за купца, но жила и живет вместе с своей свояченицей,

мещанкой Ремянниковой; следовательно, она вовсе не гнушается мещанской родней. Как бы ни было велико ее отвращение к мещанке Мартьяновой, оно, конечно, не простиралось до того, чтоб сделаться участницей в подлоге и даром отдать состояние, приобретенное путем подлога, людям, вовсе в нем не нуждающимся. Затем еще странность: Беляева знает о подлоге, знает, что Мясниковы в ее руках, но, несмотря на это, она не только 22 декабря 1858 г. отдает им по дешевой цене все состояние, полученное ею после мужа, но даже уступает им за 100 000 рублей собственные свои винокуренные заводы, стоящие по расчету, сделанному через несколько времени ею самой, 400000 рублей, а по расчетам прокурора – 200 000 рублей. Это превосходит всякое вероятие. На самом деле все объясняется весьма просто: Беляева знала, что состояние ее мужа, за вычетом долгов, составляет незначительную сумму и что за отсутствием оборотного капитала для винокуренных заводов она совершит сделку небезвыгодную, уступив их Мясниковым за 100000 рублей.

Затем, господа присяжные, я перейду к по-

следней части обвинительной речи. В ней прокурор указывает на те отношения, которые существовали впоследствии между Мясниковыми и Беляевой, и в них отыскивает доказательства в пользу того, что Мясниковы совершили подлог вместе с Беляевой. Прежде всего я не могу не заметить, что я понимаю необходимость, с точки зрения обвинительной власти, доказывать существование враждебных отношений между Беляевой и Мясниковыми в 1864–1866 годах; но я желал бы знать, какое отношение имеют к делу записки на французском языке, оскорбительные для Беляевой? Утверждает ли обвинительная власть, что они написаны с ведома Мясниковых? Тут является на сцену Риццони, который сначала считал возможным действовать против Беляевой, потом явился с жалобой, что Иван Константинович Мясников обидел его и не дал ему обещанного вознаграждения. Не думаю, чтобы можно было такому человеку верить. Но если бы и можно было ему верить, то какое отношение имеет это обстоятельство к обвинению Мясниковых в подлоге? Я просил бы вас отрешиться от впечатле-

ния, которое могли произвести на вас эти записки. Никто не утверждает, что Мясниковы знали об отвратительных советах, которые давал Шишкину Риццони. Итак, это обстоятельство должно быть оставлено совершенно в стороне. Несогласия между Мясниковыми и Беляевой несомненно были. Опека над Шишкиным была первым яблоком раздора; затем возникают споры по условию 22 декабря 1858 г., и Беляева в январе 1865 года предъявляет к Мясниковым иск. Под влиянием раздражения Беляевой против Мясниковых и того искусства, с которым оно поддерживалось поверенными Беляевой, является отзыв ее в Казенную Палату в мае 1865 года, где говорится о какой-то неведомой ей сохранный расписке. К этому же времени относятся черновые письма к Мясниковым с упреками и сильными выражениями – письма, которые вовсе не были отправлены по назначению и редакция которых принадлежала не Беляевой, а ее слишком усердному поверенному. О завещании, впрочем, в этих письмах ничего не говорится, и все упреки и угрозы, которыми они наполнены, относятся, очевидно, к

факту увоза Мясниковыми бумаг Беляева. Затем является Чевакинский, который, конечно, более заботится о своих интересах, чем о выгоде своей доверительницы, вступает в соглашение с ее противниками, хочет заключить с ними условие, действует так, что, если б ему пришлось объяснить свои поступки перед вами, может быть, вы отнеслись бы к нему очень строго; но теперь речь идет не о нем, и участие Беляевой в его действиях или даже знание ее о них ничем не доказано. Что касается до мирных переговоров, то их, кажется, всего правильнее было бы отнести к тем частям дела, которые устранены из области судебных прений. Но по поводу показания Борзаковского прокурор сделал замечание, которое не может быть оставлено без ответа. Вам говорили, что Борзаковский был запугиваем, что ему назначено было свидание в III Отделении с тонким расчетом, что это произведет на него известного рода впечатление. Не говоря уже свидетеле Коптеве, который опровергает показание Борзаковского, в самом показании его заключается нечто крайне невероятное. Переговоры в III Отделе-

нии, по его словам, происходили уже после начала второго следствия. Неужели же никто из адвокатов, к которым Мясниковы, конечно, обращались, не объяснил им, что после начатия уголовного дела примирение невозможно? Неужели можно допустить, что во время второго следствия все еще продолжались мирные переговоры? Но если б они и были, все-таки нет никакого основания обвинять Мясникова в запугивании Борзаковского и, таким образом, к тяжелому обвинению, тяготеющему над Мясниковым, прибавлять еще одно, в нравственном отношении весьма серьезное. Во-первых, я должен заявить, что Мясников занимал должность адъютанта начальника Штаба Корпуса жандармов, следовательно, находился в личных отношениях к непосредственному своему начальнику, принимал просителей, докладывал о них, передавал записки, прошения, исполнял некоторые поручения; между этой деятельностью, чисто личной, и деятельностью агента чиновника III Отделения нет ничего общего. Наконец, можно ли допустить, чтобы Борзаковский, ходатай по делам старого времени, советник

Управы Благочиния, мог испугаться призыва в III Отделение для свидания с Мясниковым? Ведь он знал, что Мясников только адъютант генерала Мезенцова, что его влияние не могло простираться до того, чтоб против Борзакковского были приняты какие-нибудь насильственные или даже просто нравственно-принудительные меры. Можно ли после этого говорить о запугивании? Можно ли думать, чтобы человек, искушенный в житейских делах, хоть на одну минуту сконфузился только потому, что его призывал в III Отделение для объяснения по частному делу адъютант генерала Мезенцова? Вы, конечно, не замедлите отбросить в сторону такое предположение. Затем, присяжные заседатели, остаются еще мирные переговоры с Гониным. Это тот свидетель, который имеет знаменитую тяжбу с Ижболдиным о векселях. Если свидетель Дедюхин подтвердил это показание, и то не вполне, потому что он не знал, какие именно велись переговоры, то свидетель Столбов совершенно опровергнул его, свидетель Домрачев также. Полагаю, что можно после этого не говорить больше о показании Го-

нина.

Мне кажется, господа присяжные заседатели, что, за исключением пробелов, неизбежных в столь обширном деле, я исполнил свою задачу, ответив на все существенные пункты обвинения. Затем мне остается свести все сказанное мною в одно целое и представить вам общую картину, которую представляет настоящее дело. Что мы видим с одной и с другой стороны? Наследник по закону, лишившийся наследства вследствие завещания и признающий его подложным, может отстаивать свои права иногда даже с излишней горячностью, не разбирая средств, во имя нарушенной справедливости; но в настоящем деле мы видим перед собой людей совершенно посторонних, которые покупают претензию еще при жизни Мартьяновой, совершают с ней условия, посылают к Мартьяновой деньги, стараются, чтобы она не приезжала в Петербург, пишут для нее завещание, одним словом, относятся к делу с точки зрения чисто коммерческой. С другой стороны, является женщина, которая живет с мужем 25 лет в величайшем согласии и любви, которой муж

постоянно хотел оставить все свое состояние; за этой женщиной мы видим людей всего более, после Беляевой, близких к ее мужу – людей, делу которых Беляев обязан почти всем своим состоянием. Я думаю, на суде обнаружилось с достаточной ясностью, что подкупа в настоящем деле не было и нет со стороны Мясниковых. Мы не видим ни одного свидетеля в их пользу, который мог бы внушать сомнение. Нам говорят о Шевелеве, что он надеется когда-то что-то получить от Мясниковых, тогда как у него в руках условие на 2000 рублей, заключенное с Ижболдиным. Зато мы видим, что завещание, называемое подложным, касается состояния крайне ограниченного, а обвиняются в составлении его миллионеры, которые притом не знали и не могли знать, достанется ли им завещанное имение. Во всем этом такая невозможность, такая неправда, которую вы без сомнения уже оценили. Вас приглашают вашим приговором доказать, что перед вашим судом все равны – сильные и слабые, богатые и бедные. Кто сомневается в этом? Мы видим достаточно примеров, что со времени введения судебных

установлений ни богатство, ни общественное положение не составляет гарантии безопасности виновных. Я думаю, что в процессе, столь важном, вызвавшем так много толков в обществе, никакие утилитарные практические соображения не могут и не должны иметь места. Перед вашим судом действительно все равны, но только во имя справедливости. Если чувство справедливости и простой здравый смысл покажут вам, что не только нет, но и не могло быть преступления, что не было интереса совершить его, что не было действий, которые обыкновенно совершаются преступниками после преступления, не было попыток затемнить истину с той стороны, которую до сих пор в этом обвиняли, что не от нее шли противозаконные попытки исказить истину, то я надеюсь, что вы постановите ваш приговор не во имя равенства перед законом, а во имя справедливости, требующей, чтобы каждому было воздано должное.

* * *

Вердиктом присяжных завещание было признано неподложным. При вторичном рассмотрении дела в Московском окружном суде

это решение было оставлено в силе.

Примечания

Подробнее обстоятельства настоящего дела, а также обвинительную речь по делу см. в книге А. Ф. Кони, Избранные произведения, Госюриздат, 1956, стр. 316–387.

[^^^]

Согласно его же показаниям Шевелев в 1866 г. составил за вознаграждение от Сысоева (поверенного Ижболдина) заведомо ложное письмо о состоянии наследства Беляева.

[^^^]

3

К моменту возбуждения дела Целебровский (а также свидетели Отто и Сицилийский – они упоминаются в речи ниже) – умерли. (*Сост. Ред.*).

[^^^]